

## **Příloha – text originálu**

### **Глава третья. Уголовное дело № 41074/56-68С «О нарушении общественного порядка и клевете на советский государственный и общественный строй»**

*Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать... Не могу даже подумать о чехах, слышать их обращения по радио, – и ничего не сделать, не крикнуть.*

Лариса, 25 августа 1968 г.

Позади только что закончившийся суд над Анатолием Марченко, известным диссидентом, автором книги «Мои показания», в которой он – бывший политический заключенный – описал тюрьмы и лагеря времен правления Хрущева.

Его осудили за нарушение паспортного режима. Но это была лишь внешняя причина. Подлинным основанием привлечения его к уголовной ответственности были написанные им и переданные на Запад для публикации открытые письма в поддержку нового направления демократизации в Чехословакии.

В народный суд Тимирязевского района Москвы, где слушалось это дело, пришли многие друзья Анатолия. Помню Павла Литвинова, Бориса Шрагина, Анатолия Якобсона и других, имена которых мне были известны по их участию в борьбе за права человека в Советском Союзе. Среди пришедших был и самый близкий и дорогой Анатолию человек, его нынешняя жена – Лариса Богораз-Даниэль. По иронии судьбы, судебный процесс над Анатолием происходил в тот самый день – 21 августа 1968 года, когда советские войсковые части вступили на территорию Чехословакии, оккупировали ее для того, чтобы, как сказано было в «Правде» 21 августа, «...служить делу мира и прогресса».

Все мы, собравшиеся в народном суде, уже знали об оккупации Чехословакии. Все, кроме Марченко. Меня специально просили ничего ему об этом не говорить. Его друзья не сомневались, что он в судебном заседании будет протестовать против вторжения и этим навлечет на себя новые преследования.

После приговора (Марченко был осужден к одному году лишения свободы) народный судья сказал, что я смогу ознакомиться с протоколом судебного заседания 26 августа и тогда же получу разрешение на свидание с Анатолием в тюрьме. Я обещала Ларисе и

Павлу Литвинову встретиться с ними до того, как пойду на свидание с Анатолием. Мы назначили и время встречи – 25 августа в 6 часов вечера.

Наше знакомство с Ларисой Богораз-Даниэль началось с моей неудачной попытки защищать ее бывшего мужа-писателя Юлия Даниэля. Знакомство это не оборвалось тогда. У Ларисы и ее друзей часто возникала необходимость получить у меня совет. Но, помимо этого и независимо от этого, мы просто испытывали друг к другу чувство искренней симпатии, довольно быстро перешедшее в дружбу.

С Павлом Литвиновым я познакомилась позже, наверное в 1967 году, когда начала выступать в политических процессах. Но родители Павла – мои добрые и давние знакомые, с которыми меня связывали и общий круг друзей, и любовь к музыке, и совместные туристские походы. Поэтому, хотя мои встречи с Павлом носили деловой характер и были связаны с организацией защиты по нескольким политическим делам, дружба с его родителями сразу же определила неформальный характер наших отношений. Кроме того, Павел мне очень нравился мягкостью, терпимостью и личным мужеством, в котором я имела возможность убедиться еще во время процесса над Юрием Галансковым и Александром Гинзбургом.

11 января 1968 года, накануне окончания этого процесса, Павел и Лариса написали и передали на Запад для публикации обращение «К мировой общественности».

В то время в Москве и других городах страны многие писали и подписывали самые разнообразные письма протеста, в которых резко критиковали нарушения «социалистической законности», выступали с требованиями соблюдения демократических норм. Каждое из этих писем было заметным явлением общественной жизни. Слушали их по западным радиостанциям, читали и передавали из рук в руки тонкие листки папиросной бумаги с еле различимым текстом.

Каждый вечер, когда я приходила в консультацию, секретарь передавал мне пачку почтовой корреспонденции. Я вскрывала конверт за конвертом. Это были письма совершенно незнакомых мне людей. Большинство начиналось так:

Генеральному прокурору СССР

Верховный суд РСФСР

Копии:

Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.Б. Подгорному

Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину

Адвокатам: Б.А. Золотухину, Д.И. Каминской

Почти в каждом из этих писем перечислялись нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела Галанскова и Гинзбурга и других. Почти каждое письмо содержало требование к властям – соблюдать собственные законы. Каждое такое письмо для его автора могло повлечь полное крушение всей его сложившейся жизни и требовало незаурядного мужества, а все вместе они свидетельствовали о возрождении общественного мнения, уничтоженного в нашей стране еще в начале 20-х годов.

Обращение Павла и Ларисы заметно отличалось от большинства полученных мною писем своим нравственным, гражданским пафосом. Они обращались не к властям, не к правительству и коммунистической партии, а к каждому из нас – «к каждому, в ком жива совесть». Они ставили каждого человека перед необходимостью нравственного выбора.

Помню, мы слушали это обращение по радио вместе с пришедшими к нам друзьями:

Граждане нашей страны!

Этот процесс-пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Сегодня в опасности не только судьба трех подсудимых – процесс над ними ничем не лучше знаменитых процессов 30-х годов, обернувшихся для нас таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться.

Мы слушали, боясь пропустить хоть одно слово – ведь это впервые голос диктора обращался непосредственно к нам, взывал к нашей чести.

Ведь родилось, выросло и даже успело состариться целое поколение, к которому никогда так не обращались и для которого поэтому звучание слов «совесть» и «честь» было особенно торжественным.

Ставшие сейчас привычными термины «диссиденты», «инакомыслящие» тогда только приобретали права гражданства. В те годы мне приходилось встречаться с теми, кто впоследствии приобрел широкую известность своим участием в диссидентском движении. Их, безусловно, объединял неконформизм и достойное уважения мужество, готовность жертвовать своим благополучием и даже свободой. Однако это были очень разные люди.

Иногда мне казалось, что некоторых из них слишком увлекает сам азарт политической борьбы. Разговаривая с ними, я явно ощущала, что, борясь за свободу высказывания своих мнений, они в то же время недостаточно терпимы к мнениям и убеждениям других людей. Недостаточно бережно, без необходимой щепетильности распоряжаются судьбами тех, кто им сочувствует.

Помню, как-то после одной такой беседы я, вернувшись домой, сказала мужу:

– Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но, когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, – мне этого не захотелось.

Мое отношение к Павлу, Ларисе и многим другим определялось не только тем, что разделяла их взгляды, что наши оценки советской действительности совпадали. Меня привлекала нравственная основа их убеждений и методов, которыми они и движение (получившее впоследствии название «правозащитного») пользовались. Некоторые из участников этого движения силою внешних обстоятельств стали моими подзащитными. Моими друзьями они становились по моему внутреннему выбору.

Вот почему, договариваясь с Павлом и Ларисой и уже считая их своими друзьями, я попросила их прийти 25 августа 1968 года ко мне домой, а не в юридическую консультацию.

Воскресенье 25 августа. Я хорошо помню этот день и наше возвращение с загородной прогулки в Москву, обусловленное встречей с Ларисой и Павлом. Помню и то, как негодовала, когда они не пришли в назначенное время, даже не позвонив, не предупредив, что наше свидание откладывается.

А потом сквозь треск и шум, всегда сопровождавшие передачи западного радио, мы услышали:

Сегодня на Красной площади в Москве небольшая группа людей пыталась продемонстрировать протест против оккупации Чехословакии.

И я сразу же сказала:

– Это они.

Ничто в наших предшествовавших разговорах не давало мне оснований для такого предположения. Более того, у меня было впечатление, что Павел и Лариса лично для себя не считали демонстрацию наилучшим способом выражения несогласия или протеста. Что им более свойственны индивидуальные письма и обращения к общественности, которые дают возможность не только протестовать, но и подробно этот протест аргументировать. Но я видела, как Павел и Лариса были потрясены оккупацией Чехословакии, и, зная этих людей, понимала, что они не смогут промолчать. Исключительность самого события определила и выбор исключительной, несвойственной им формы протеста.

А уже на следующий день – 26 августа – я держала в руках ту записку, которую поставила эпиграфом к этой главе.

Короткую, обращенную ко мне записку, которую Лариса во время обыска у нее на квартире каким-то чудом смогла написать и передать для меня.

...Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать.

И тут же несколько слов для Анатолия:

...Пожалуйста, прости меня и всех нас за сегодняшнее – я просто не в состоянии поступить иначе. Ты знаешь, какое это чувство, когда невозможно дышать.

На следующий день мне стали известны имена всех участников демонстрации: Константин Бабицкий, Лариса Богораз-Даниэль, Наталья Горбаневская, Вадим Делонэ, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг.

Когда я узнала, что Вадим Делонэ был одним из участников демонстрации, первое чувство, которое испытала, было чувство острой жалости. Я понимала, что он был самым обреченным из всех этих, обреченных на наказание людей. Ведь он уже был осужден за участие в демонстрации на площади Пушкина, и новое осуждение, да еще за совершение аналогичного преступления, давало право суду не только назначить ему максимальное наказание (три года лишения свободы), но и присоединить весь срок, не отбытый по предыдущему приговору.

– Почему не оберегли его? Как могли допустить, чтобы он принял участие в демонстрации?..

Но еще до первого свидания с Павлом и Ларисой я знала, что свойственная им человечность и чувство ответственности за судьбы других не изменили им и в этот раз. Для них приход Вадима на Красную площадь был полной неожиданностью. Никто из остальных участников демонстрации Вадиму о своих намерениях не рассказывал. Не рассказывали именно потому, что хотели уберечь его.

Не знаю, права ли я была в своей уверенности, но ни тогда, ни позднее не сомневалась в том, что кроме общей для всех причины демонстрации – протеста против ввода советских войск в Чехословакию – у Вадима была и вторая, глубоко личная причина, которая привела его тогда на Красную площадь. Для него участие в демонстрации являлось и формой самореабилитации. Я употребляю термин «самореабилитация» потому, что ему не было необходимости реабилитировать себя в глазах других. Никто его не винил за те прошлые показания в КГБ, которые он давал по делу о демонстрации на площади Пушкина.

Некоторые вообще не признавали морального права за людьми, никогда не терявшими свободы, судить тех, кто на себе испытал тяжесть тюремного заключения. Но все соглашались с тем, что поведение Вадима на том прошлом суде не вызывало никаких нареканий.

Я с большим уважением отношусь к этой второй причине, как к проявлению чувства высокой требовательности к самому себе.

Мне кажется, что в этот же день, но во всяком случае в первые же дни после демонстрации мне стало известно, что Лариса просит меня быть ее адвокатом. Вскоре с аналогичной просьбой о защите обратилась ко мне и Флора – мать Павла Литвинова.

Созвонившись со следователем, советником юстиции Акимовой, и удостоверившись, что в показаниях Ларисы и Павла нет противоречий, я приняла защиту обоих. От следователя Акимовой я также узнала, что всем арестованным участникам демонстрации предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка и в клевете на советский общественный и государственный строй. (Статьи 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.)

Расследование дела было закончено небывало быстро – в течение двух недель, и с 14 сентября полностью укомплектованный состав защиты приступил к ознакомлению с материалами дела. Помимо меня в деле участвовали: Софья Каллистратова – защитник Вадима Делонэ, Николай Монахов – защитник Владимира Дремлюги и Юрий Поздеев – защитник Константина Бабицкого. В отношении Файнберга и Горбаневской дело было выделено в связи с тем, что они были направлены на судебно-психиатрическую экспертизу.

Итак, 14 сентября 1968 года – день, когда я начала изучать дело, а значит, и день первой встречи с подзащитными в Лефортовской тюрьме – следственном изоляторе КГБ.

Я знала, что Лариса и Павел ждут моего прихода. Что они видят во мне не просто защитника, которому можно доверять, что сам факт встречи именно со мной будет для них радостью. Возможность увидеть их, говорить с ними была горькой радостью и для меня.

Впервые за годы своей работы я ехала в тюрьму на свидание с людьми, которые были мне дороги, которых я любила и которыми восхищалась.

Мое знакомство со следователем Галаховым состоялось, как только я пришла в Лефортовскую тюрьму. Галахов – член бригады следователей, которая постановлением прокурора Москвы была специально создана для расследования этого дела. Теперь, когда следствие уже закончено, ему поручено обеспечить мне возможность ознакомиться с делом, с каждым из моих подзащитных в отдельности.

Галахов предупредил меня, что наша работа должна быть закончена в максимально сжатый срок.

– Руководство приняло решение передать дело в суд до истечения месячного срока. Просьба к вам организовать работу так, чтобы нас не задерживать. Вы можете работать так поздно, как вам это будет необходимо, – с администрацией тюрьмы этот вопрос согласован.

Расследование дела о демонстрации на Красной площади было закончено в небывалый, поражающий своей сжатостью срок. Зная стиль и условия работы следственного аппарата прокуратуры, я могу с уверенностью сказать, что этот срок был определен в каких-то очень высоких инстанциях, явно выходящих за рамки прокуратуры. Следователи в течение двух недель не только завершили допросы семи арестованных демонстрантов, примерно тридцати свидетелей, но и обеспечили проведение шести психиатрических экспертиз, происходивших в тюрьме, одной психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского (в отношении Натальи Горбаневской) и судебно-криминалистической экспертизы в специализированном научно-исследовательском институте.

Мне, как и другим адвокатам, было совершенно ясно, что всем этим дирижировало, обеспечивало незамедлительное выполнение этих формально необходимых следственных действий ведомство сильное и авторитетное, то есть КГБ.

А для того, чтобы удобнее было руководить расследованием, КГБ распорядился содержать всех арестованных по нашему делу в тюрьме, которая прокуратуре неподведомственна и куда по постановлению, подписанному прокурором, арестованного вообще не примут, – в следственном изоляторе КГБ в Лефортове.

Просьба ознакомиться с делом в пределах сентября была абсолютно выполнима. Мне было ясно, что при ежедневной работе я успею прочесть все материалы следственного досье, сделать из него необходимые выписки и что у меня останется достаточно времени, чтобы подробнее обсудить позицию защиты и подготовить моих подзащитных к суду.

Я понимала, что следователь не разрешит нам втроем работать одновременно в одном кабинете, так как это нарушало бы обязательную изоляцию обвиняемых, и, в свою очередь, попросила организовать работу так, чтобы я могла видеться с каждым из моих подзащитных ежедневно. Я хотела иметь возможность видеть Павла и Ларису каждый день, чтобы рассказывать им о семьях и о близких им людях и обязательно каждый день их «кормить».

Опыт общения со следователями по предыдущим политическим делам убедил меня, что одни следователи быстрее и без особого противления, другие после уговоров, но все они в конце концов соглашались на это отступление от тюремных правил и разрешали в их присутствии «кормить» арестованных. Единственное требование, которое они ставили и которое мы неукоснительно соблюдали, – все должно быть съедено здесь, в следственном кабинете, в камеру ничего уносить нельзя.

Предложенный мною порядок работы – с одним из подзащитных до обеда, а со вторым – после обеда – возражений не вызвал. Договорились с Галаховым и о том, что Ларису и Павла на обед уводить не будут, что даст нам возможность сохранить много времени для работы.

С этого дня я ежедневно приносила обильные обеды, приготовленные матерью Павла. Когда утром я приходила в тюрьму, сгибаясь под тяжестью огромного портфеля, с которым муж обычно ходил за покупками, Галахов, укоризненно качая головой, неизменно повторял:

– И охота вам, Дина Исааковна, таскать такую тяжесть? Ну, принесли бы пару бутербродов, яблоки. А то настоящие горячие обеды приносите, да еще на двух человек!

14 сентября в первую половину дня я решила работать с Ларисой Богораз.

Лариса вошла в комнату легко и непринужденно, без всякой тени подавленности, и сразу ко мне, путая официальное «Дина Исааковна» и фамильярное, уже ставшее для нас привычным дружеское «ты».

Подготовка к защите на этом этапе – это тщательное изучение всех материалов, которые за две недели собрала и запротоколировала бригада следователей.

Формулировка обвинения, предъявленного всем привлеченным к ответственности, кроме Ларисы, совпадала дословно. Она – общая для всех, безо всякой попытки индивидуализации, хотя это безусловное требование закона.

Расследованием по делу установлено:

Павел Литвинов (или Вадим Делонэ, или Константин Бабицкий. – Д.К.), будучи не согласен с политикой КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу в защите его социалистических завоеваний, одобренной всеми трудящимися Советского Союза, вступил в преступный сговор с другими обвиняемыми по настоящему делу (перечисляются фамилии остальных обвиняемых. – Д.К.) с целью организации группового протеста против временного вступления на территорию ЧССР войск пяти социалистических стран. Ранее изготовив



плакаты с текстами, содержащими заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, а именно: «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу», «Долой оккупантов», «Свободу Дубчеку», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» (на чешском языке), 25 августа сего года в 12 часов дня явились к Лобному месту на Красной площади, где совместно (перечень фамилий остальных обвиняемых. – Д.К.) принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок и нормальную работу транспорта: развернул вышеуказанные плакаты и выкрикивал лозунги аналогичного с плакатами содержания, то есть совершил преступления, предусмотренные статьями 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.

Для того чтобы эта формулировка соответствовала требованиям советского закона, в ней, помимо общего изложения событий, обязательно должно было быть указано: что конкретно в каждом из плакатов следствие считает «ложным измышлением», кто из обвиняемых какой из этих плакатов «изготавливал» (ведь изготовление клеветнических произведений образует самостоятельный состав уголовного преступления – статья 190-1), какие именно тексты и кто из обвиняемых выкрикивал.

От обвинительной власти требуется индивидуализировать вину каждого обвиняемого и степень его активности по сравнению с другими участниками групповых действий.

Не менее наглядно пренебрежение к требованиям закона проявилось и в том, как было сформулировано дополнительное обвинение в отношении Ларисы Богораз:

Будучи не согласна с действиями КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу, она 22 августа 1968 года направила об этом два заявления на имя директора и в профсоюзную организацию Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации и координирования.

Из этой формулировки нельзя понять ни то, какие именно заявления направила Лариса, ни то, почему направление заявления является уголовным преступлением, ни то, какое преступление она совершила.

Для того чтобы это обвинение перестало быть таинственным, я сразу приведу текст этих абсолютно одинаковых заявлений:

В знак протеста против оккупации Чехословакии Советскими войсками я объявляю забастовку с 21 по 31 августа (том 3, листы дела 193, 194).

Я знаю, как работают следственные органы Москвы, и могу сказать с уверенностью, что подобные формулировки не были результатом неопытности или небрежности. Я не допускаю и мысли, что старший следователь прокуратуры Москвы, советник юстиции

Акимова позволила бы себе такое нарушение закона по любому из тех многих (не политических) уголовных дел, которые ей приходилось расследовать. То, что именно так были оформлены следственные документы по делу о демонстрации на Красной площади, я могу объяснить двумя причинами.

Первое. Необходимостью выполнить поручение высоких партийных инстанций и КГБ и привлечь всех без исключения участников демонстрации к уголовной ответственности. И второе. Невозможностью в полном соответствии с законом оформить обвинение в действиях, которые по этим же законам не являются преступными.

Материалы дела о демонстрации – это три толстых тома. Но уже с первого дня мне стало ясно, что для защиты важен первый том – с показаниями свидетелей – и те части остальных двух томов, где содержатся очные ставки. Обвиняемые же на большинство вопросов следователей отвечать отказывались.

Перечитывая сейчас свои выписки из следственного досье, отбирая те показания, которые интересно представить читателю, я вижу, что все они значительно менее эффектны, чем бьющие в глаза своей непримиримостью и политическим темпераментом показания Владимира Буковского. Это не потому, что участники демонстрации на Красной площади – люди менее мужественные, менее убежденные. Просто они другие.

Сдержанный тон показаний более свойственен их характеру, возрасту и той позиции поведения на следствии, которую каждый из них избрал самостоятельно, но в которой все они оказались поразительно солидарны.

Если Владимир Буковский говорил следователю: «Свои политические убеждения не скрываю и привык говорить о них открыто», то все участники демонстрации на Красной площади вообще отказались беседовать со следователями о своих взглядах и убеждениях, ограничив свои объяснения мотивами демонстрации.

Пожалуй, единственным человеком, который по складу своего характера мог нарушить этот общий тон сдержанности, был Владимир Дремлюга. Но на следствии он давать показания отказался, сохранив для суда весь свой темперамент бойца.

Солидарность и непреклонность в избранной линии поведения была первой особенностью, которую я отметила, читая показания обвиняемых.

Самые подробные показания, которые Лариса Богораз дала на следствии, заняли несколько строк:

25 августа пришла на Красную площадь. Подняла транспарант с протестом против ввода войск в Чехословакию. На вопрос о том, какой плакат держала я и какие именно плакаты держали мои товарищи, отвечать отказываюсь. Мои действия не нарушили общественный порядок и движение транспорта, не препятствовали воскресной прогулке граждан. Самовыражение протеста не нарушает общественного порядка. Лозунги не содержат клеветнических измышлений, а выражают критическую точку зрения по одному конкретному вопросу. Обвинение против нас считаю несостоятельным. Отказываюсь принимать участие в работе следствия и больше ни на какие вопросы отвечать не буду (том 3, лист дела 182).

Так же кратко выглядят показания Павла Литвинова от первых – в день задержания – и до последних 12 сентября.

От показаний отказываюсь. Считаю задержание насилем со стороны лиц в штатском. Через следствие я обращаюсь с жалобой на лиц, задержавших нас. На все остальные вопросы отвечать отказываюсь (том 3, лист дела 7, 25 августа).

Читая показания Ларисы и Павла, я с удовольствием отмечала не только их мужество – оно не было для меня неожиданностью, но и сдержанный, спокойный тон этих показаний. Та же спокойная сдержанность была и в более подробных показаниях двух других участников демонстрации – Вадима Делонэ и Константина Бабицкого.

В самый день задержания, 25 августа 1968 года, Константин Бабицкий, молодой ученый, автор трудов по математической лингвистике, сказал:

Сегодня я пришел на Красную площадь, чтобы выразить свой протест против трагической ошибки нашего правительства – вооруженного вмешательства в дела Чехословакии (том 2, лист дела 20).

В своих последующих показаниях Бабицкий говорил, что не боится назвать цель демонстрации высокой.

То же осознание высокой цели пронизывало показания не только обвиняемых, но и их друзей и родственников, которые были очевидцами демонстрации.

Том 2, лист дела 70. Показания свидетеля Татьяны Великановой:

Вопрос следователя: Расскажите, что вам известно по этому делу?

Ответ: Утром в воскресенье мой муж Константин Бабицкий сказал, что должен быть на Красной площади у Лобного места в 12 часов, чтобы выразить протест против введения войск в Чехословакию. На мой вопрос он ответил, что кроме него будут и другие участники, но кто именно – я не спрашивала.

Вопрос: Пытались ли вы воздействовать на мужа, отговорить его? Ведь у вас трое несовершеннолетних детей, и вы должны были понимать последствия.

Ответ: Я не пыталась отговорить. Если муж считал, что во имя совести он должен так поступить, – отговаривать его было бы просто бесчестно.

А сейчас мне кажется необходимым сделать небольшое отступление и вновь вернуться к словам записки Ларисы Богораз: «Не ругайте нас, как все нас ругают».

В один из первых дней после демонстрации к нам домой пришел друг Ларисы и Юлия Даниэля Анатолий Якобсон. Только однажды потом за долгие годы нашей дружбы я видела Анатолия в состоянии такого безудержного отчаяния. Тот второй раз был в день прощания, когда Анатолия изгнали из Советского Союза.

Навсегда в моей памяти осталось его залитое слезами лицо и то, как он сквозь рыдания пытался читать болезненно им любимые строки прощания с Ленинградом из стихов Анны Ахматовой:

Разлучение наше мнимо:

Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих.

Я никогда после этого прощания Анатолия не видела. Он действительно был неразлучим со своей страной и в изгнании покончил жизнь самоубийством.

А в тот августовский день в 1968 году Анатолий сидел в моей комнате, закрыв лицо своими сильными руками, и сквозь рыдания повторял раз за разом:

– Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними.

25 августа Анатолия не было в Москве. Только на следующий день он узнал о демонстрации и об аресте самых близких своих друзей.

Анатолий написал замечательное по силе и точности открытое письмо, посвященное демонстрации на Красной площади. Рукописный подлинник этого письма, ставший теперь для меня печальной реликвией, лежит в моем досье по делу о демонстрации с тех самых дней.

Многие люди, гуманно и прогрессивно мыслящие, признавая демонстрацию отважным и благородным делом, полагают одновременно, что выступление, которое ведет к неминуемому аресту участников и к расправе над ними, неразумно, нецелесообразно.

От Анатолия я узнала то, о чем мне потом рассказывали другие друзья демонстрантов: намерение провести демонстрацию протеста не встретило поддержки у многих из их единомышленников. Делались отчаянные попытки отговорить их, предотвратить демонстрацию именно потому, что считали ее «неразумной», «нецелесообразной».

Вот чем объяснялись эти, поначалу непонятные для меня, повторяющиеся слова в записке Ларисы – «не ругайте», «простите».

Как-то совсем недавно я разговаривала уже здесь, в Америке, с моим добрым другом, тоже эмигрантом, изгнанным из Москвы. Он был в числе тех, кто 24 августа объезжал квартиру за квартирой. К Бабицкому, к Ларисе, к Павлу Литвинову-с единственным намерением удержать их, предотвратить демонстрацию. Им руководила абсолютно гуманная цель – уберечь их. Ведь он, как и другие, предвидел единственно возможный в советских условиях исход такого открытого протеста.

– Сейчас я понимаю, что был не прав. Я не должен был их отговаривать. Я должен был быть с ними.

Письмо Анатолия Якобсона было ответом всем тем сочувствующим, кто осуждал демонстрацию:

К выступлениям такого рода нельзя подходить с мерками обычной политики, где каждое действие должно приносить непосредственный, материально измеримый результат, вещественную пользу.

Демонстрация 25 августа – явление не политической борьбы, а явление борьбы нравственной.

Исходите из того, что правда нужна ради самой правды, а не для чего-нибудь еще; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, даже если он бессилён это зло предотвратить.

И еще:

Семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа. Значение демонстрации 25 августа невозможно переоценить.

Анатолий с полным правом назвал всех участников демонстрации героями 25 августа.

С каждым новым днем работы над делом я все больше и больше убеждалась, что первое дело о демонстрации (дело Буковского и других) принесло определенный опыт не только мне. Следственные органы по-своему тоже этот опыт учитывали и старались избежать тех явных дефектов в конструкции обвинения, которые были допущены в первом деле.

Тогда, конструируя обвинение, КГБ исходили из того, что уже одно содержание лозунга может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Следствие тогда вполне устраивали показания свидетелей комсомольцев-оперативников, что их вмешательство, то есть разгон демонстрации и задержание участников, было оправдано

«антисоветским» или «клеветническим» характером лозунгов. Формально суд разделил эту позицию и осудил Буковского и других по статье 190-3 Уголовного кодекса. Но правовая несостоятельность обвинения после суда стала очевидна всем, в том числе и КГБ.

Поскольку советская власть не может и не хочет мириться с инакомыслием, в какой бы форме оно ни выражалось, то отпадал естественный и законный вывод из прошлой ошибки – признание демонстраций гарантированным конституцией правом граждан нашей страны. Вместо этого было добавлено второе обвинение – в изготовлении и распространении клеветнических измышлений, квалифицированное по статье 190-1 Уголовного кодекса.

Предъявив это дополнительное обвинение, следственная власть, вопреки закону, полностью освободила себя от обязанности его доказать или аргументировать, ограничившись простым перечислением текстов плакатов. Вторую же часть обвинения она старалась доказать любыми способами, и доказать так, чтобы избежать упреков защиты в том, что сам факт демонстрации рассматривается как нарушение общественного порядка.

Обвинительную власть уже не могли устроить показания свидетелей, что нарушение общественного порядка они усмотрели в содержании плакатов. Необходимы были доказательства, что демонстрация сопровождалась бесчинствами и нарушала нормальную работу транспорта.

В распоряжении следствия по этому пункту обвинения, помимо показаний обвиняемых, были показания трех групп свидетелей. Первая группа – это друзья и родственники подсудимых. Вторая – свидетели Ястребова и Леман. Свидетели незаинтересованные, чьи показания полностью подтверждают рассказы обвиняемых и их друзей.

Третья группа – это подлинные свидетели обвинения, то есть те, чьи показания используются обвинением как доказательство вины в нарушении демонстрантами общественного порядка и нормальной работы транспорта.

Я хочу представить моим читателям равную с судом возможность самим оценить материалы дела и самим сделать вывод о доказанности обвинения.

Итак, показания свидетелей первой группы. Татьяна Великанова, жена Константина Бабицкого (том 2, листы дела 70–71 оборот):

Я видела, как муж вместе с остальными участниками демонстрации сели вокруг Лобного места и развернули плакаты. Примерно через 2 минуты подбежали две группы

мужчин и стали эти плакаты вырывать. Один, я хорошо запомнила его в лицо, ударил Файнберга ботинком в лицо. У Файнберга весь рот был в крови. Никто из знакомых мужа даже не поднялся и никак не реагировал на провокацию.

В том крыле, где сидел Литвинов, тоже кого-то били, кого – не рассмотрела. Какой-то мужчина ударил пинком моего мужа в бедро.

Побои наносили не из толпы собравшихся граждан, а определенные специальные люди, но без повязок.

Свидетель Панова, знакомая Татьяны Великановой (том 2, лист дела 72–73, допрос 12 сентября):

Направляясь на Красную площадь к Татьяне Великановой, увидела, как у Лобного места кольцом сели на ступеньки люди и развернули белые полотна с надписями. Было 12 часов. Почти сразу к ним с двух сторон бросились люди в гражданской одежде, сразу начали избивать тех, кто сидел с плакатами, и отнимать эти плакаты. Все происходило очень быстро. Бабицкий сидел рядом с человеком, у которого было разбито, окровавлено лицо. Никто из тех, кто сидел у Лобного места, даже не повернулся и ничего не сказал, когда их начали избивать.

Абсолютно аналогичные показания дали и другие знакомые и друзья демонстрантов.

Показания второй группы свидетелей – очевидцев демонстрации, которые при разных обстоятельствах оказались 25 августа на Красной площади.

Свидетель Ястребова (том 1, лист дела 90, допрос 28 августа):

Мое постоянное место жительства – Челябинск. В Москву приехала в отпуск. 25 августа я пришла на Красную площадь в 11 часов 50 минут – просто хотела посмотреть площадь и мавзолей Ленина. Я видела, как к Лобному месту подходила эта группа, и все сели на парапет. Буквально мгновенно подняли вверх руки, в которых были лозунги. Почти сразу подбежали мужчины и отобрали лозунги. Эти люди даже не поднялись на ноги – продолжали сидеть. Один мужчина сгоряча ударил довольно увесистым портфелем по голове одного из сидящих. Люди из толпы его останавливали. Видела, как еще один мужчина на них замахивался. Когда их задерживали, они шли спокойно.

Свидетель Леман (том 1, лист дела 5, допрос 25 августа):

25 августа был на Красной площади, увидел толпу у Лобного места и подошел. Какой-то человек ударил сидящего в зеленой рубашке по зубам. В этот момент их стали сажать в машины. Вдруг ко мне подбежали несколько человек и схватили меня за руки. Один сказал: – Этот? – Другой ответил: – Нет. Но первый повторил: – Этот. – Они

заломили мне руки, дали по шее и затолкали в машину; так я оказался в пятидесятом отделении милиции. Никого из задержанных я не знаю.

Прокуратура Москвы очень тщательно проверяла обстоятельства, при которых свидетель Леман оказался на Красной площади и был задержан. Было бесспорно установлено, что никого из демонстрантов он не знал, очевидцем демонстрации оказался совершенно случайно и его задержание было ошибкой.

И, наконец, показания свидетелей третьей группы – свидетелей обвинения.

Из них я приведу только те, которые были наихудшими для обвиняемых и на которых впоследствии базировался обвинительный приговор.

Свидетель Богатырев (том 1, лист дела 54, допрос 27 августа):

25 августа пришел на Красную площадь около 12 часов, чтобы погулять там. Увидел толпу у Лобного места. Там кто-то выкрикивал «Свободу Дубчеку». Я побежал. Этих граждан уже сажали в машины. Картина была омерзительная. Задержанные вырывались, оскорбляли граждан, выкрикивали лозунги – вели себя как отъявленные хулиганы. Одна из женщин обзывала собравшихся сволочами, провокационно кричала, что ее избивают, хотя никто ее не бил, визжала. Кто-то передал мне отобранные у них плакаты, я не читал их и передал в милицию. В машине они продолжали кричать. В отделении милиции я сообщил свой адрес и ушел.

Свидетель Веселов (том 1, лист дела 90, допрос 28 августа):

25 августа пришел к 12 часам на Красную площадь для прогулки. Увидел большое скопление народа, шум. Я подошел. У Лобного места стояла группа людей. Они держали транспаранты, кричали. Я видел, как их сажали в машину. Женщина, которая стояла у Лобного места, ударила меня ногой и кричала «Тираны», «Насильники».

Свидетель Давидович (том 1, лист дела 26, допрос 27 августа):

В Москве был проездом. Мое постоянное место жительства – Коми АССР. 25 августа был в ГУМе и вышел из него на Красную площадь около 12 часов. Увидел группу людей,двигающуюся по площади к Лобному месту. Они сели около Лобного места со стороны Красной площади. Тут же развернули плакаты «Руки прочь от ЧССР», второй на чешском языке. Стала собираться толпа. Участники этой группы начали произносить речи. Собравшиеся граждане требовали, чтобы их задержали.

Мужчины в штатском стали активно сажать участников этой группы в подошедшие автомашины. Я тоже стал помогать. Их никто не бил.

И, наконец, полностью приведу документ, против которого в моем досье стоит знак «NB».



Том 1, лист дела 7. Рапорт инспектора отдела регулирования Уличного движения Куклина.

25 августа во время несения постовой службы заметил на проезжей части Лобного места группу лиц с плакатами. Стоя на проезжей части с плакатами в руках, они кричали. Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спасских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно. На мое требование уйти с проезжей части граждане не реагировали и продолжали стоять и кричать.

Все это – и показания последней группы свидетелей, и рапорт инспектора ОРУДа – серьезный обвинительный материал. Если суд будет с доверием относиться к их показаниям, он их использует как доказательство вины в нарушении общественного порядка, а рапортом подкрепит обвинение в нарушении нормальной работы транспорта.

Оставаясь наедине с каждым из моих подзащитных, мы обсуждали эти показания. И Павел Литвинов говорил мне:

– Дина Исааковна, ведь это полное вранье. Демонстрация была сидячая. Мы сидели на тротуаре и не поднимались до тех пор, пока нас не стали сажать в машины. За все то время, что мы там были, через площадь не прошла ни одна машина.

– Диночка (это уже говорит Лариса), но ведь всем понятно, что это неправда. Никто из нас ни на секунду не поднимался. Мы так решили заранее – сидеть на тротуаре и не поддаваться ни на какую провокацию. Ведь даже когда били, ни один из нас не крикнул, не оттолкнул от себя.

И Павлу, и Ларисе я верю безоговорочно. Верю потому, что это говорят именно они. Но, помимо этого, еще когда читала дело, профессиональная привычка удержала в памяти такие детали, которые позволяли сначала сомневаться, а потом уже в суде безо всякого сомнения сказать:

– Вся эта группа свидетелей дает ложные показания по целому ряду самых существенных для обвинения деталей. Рапорт инспектора ОРУДа – фальсификация.

Что породило у меня сомнения в правдивости этих свидетелей?

Прежде всего, конечно, то, что их рассказ (о том, как происходила демонстрация и как задерживали демонстрантов) опровергался показаниями обвиняемых, которым, повторяю, я верила, и всех остальных очевидцев демонстрации, в числе которых были люди совершенно незаинтересованные, в чьей объективности сомневаться было нельзя. Теоретически свидетели обвинения – Веселов, Богатырев и другие – также посторонние, значит, тоже незаинтересованные и объективные, как Ястребова и Леман.

И вновь перечитываю страницы дела, чтобы проверить себя. И вписываю в свое досье против каждого из свидетелей:

Свидетель Веселов – сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Богатырев – сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Иванов – сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Васильев – сотрудник воинской части 1164.

Как случилось, что все они оказались в один и тот же день и час в одном и том же месте?

Почему ни один из них не сказал на допросе, что договорился встретиться со своими сослуживцами или хотя бы случайно встретил их на Красной площади?

Почему следователь, который у всех свидетелей подробно выяснял все, связанное с приходом на Красную площадь, ни одному из этих свидетелей не задал само собой напрашивающийся вопрос: была ли их встреча случайным совпадением или обусловлена договоренностью?

Следователь не спросил их даже о том, знакомы ли они вообще друг с другом. Как будто бы надеялся на то, что никто из участников процесса не заметит, что все эти свидетели, согласованно дающие показания против обвиняемых, являются сотрудниками одной и той же воинской части.

И еще одна деталь. Заполняя анкетные данные свидетеля, следователь не может ограничиваться лишь указанием номера части. Он должен указать звание свидетеля и то министерство, в ведении которого эта воинская часть находится (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, КГБ).

В анкетных данных этих свидетелей в графе «Занимаемая должность» – загадочное для воинской части и принятое только в системе КГБ слово «сотрудник». К какому министерству относится воинская часть 1164, указано не было.

Из анкетных данных свидетеля Давидовича я узнала, что у него высшее юридическое образование, что он предъявил следователю не паспорт, а удостоверение личности Министерства внутренних дел и что место его работы – воинская часть 6592. Сопоставляя это с тем, что его постоянное место жительства и работы Коми АССР (республика, где сосредоточены лагеря строгого режима и тюрьмы), у меня были все основания предполагать, что Давидович является ответственным (о чем свидетельствует наличие высшего юридического образования) работником тюрьмы или лагеря.

Конечно, само по себе это еще не означает, что он говорит следствию неправду, но относиться к его показаниям как к показаниям человека объективного я уже не могла. Кроме того, в показаниях Давидовича была одна подробность, явно свидетельствующая, что он либо говорит неправду, либо сознательно скрывает обстоятельства, при которых оказался на площади.

Давидович утверждал, что он вышел из ГУМа. Но каждый москвич знает, что в воскресенье в ГУМе торговли не бывает, для покупателей он закрыт. Значит, если Давидович, как он утверждал, пришел на Красную площадь просто для воскресной прогулки, он в помещение ГУМа попасть не мог. Другое дело, если он был участником «оперативного мероприятия».

ГУМ своим фасадом выходит на Красную площадь, а торцовой частью на улицу Куйбышева, то есть на «правительственную магистраль», по которой следуют машины в Кремль и из Кремля на Старую площадь, в здание ЦК КПСС. Поэтому в здании ГУМа расположены круглосуточные посты оперативного наблюдения.

Если Давидович, утверждая, что на Красную площадь он вышел из ГУМа, сказал правду, это значит, что он находился там как участник запланированного «оперативного мероприятия».

Мой опыт работы адвоката избавлял меня от сомнений по поводу того, согласятся ли «сотрудники» – участники этого мероприятия – давать любые показания, которые от них потребует КГБ. Такое понятие, как уважение к правосудию, к обязанности гражданина говорить в суде только правду, в Советском Союзе вообще встречается нечасто. Те же свидетели, о которых пишу сейчас, могли не опасаться и привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Более того, они знали, что ни следователь, ни судья не будут даже пытаться уличить их во лжи, какой бы явной эта ложь ни была. Что потом каждое слово, сказанное ими по подсказке КГБ или прокуратуры, суд будет защищать от критики со стороны адвокатов и самих подсудимых.

Но я понимала, что весь этот ход рассуждений, важный для моей оценки показаний свидетелей, не может быть использован в суде, пока я не найду подтверждения того, что КГБ действительно оказывал давление на этих свидетелей.

Но, как ни скрывай, ложь обязательно где-то проявится.

И вот:

Том 1, лист дела 69, допрос свидетеля Куклина 27 августа. 25 августа стоял на посту на углу улицы Куйбышева. Заметил группу в 8-10 человек, которые шли по направлению

к Лобному месту. Не знаю, почему, но я сразу обратил на них внимание и сразу побежал туда. Когда я прибежал на площадь, я увидел что-то в руках у граждан, которые сидели на тротуаре Лобного места. Близко к Лобному месту я не подходил и потому лозунгов не видел и выкриков не слышал. В этот же день после сдачи смены я написал рапорт.

Противоречия между показаниями Куклина и им же написанным рапортом очевидны. В показаниях: «...Выкриков не слышал». В рапорте: «...Они стояли на проезжей части и кричали...» В рапорте: «На мое требование уйти с проезжей части эти граждане не реагировали, продолжали стоять и кричать».

Но как мог свидетель обратиться к демонстрантам с каким бы то ни было требованием, если близко к Лобному месту он не подходил (протокол допроса)?

Куклин – не обычный свидетель. Он инспектор ОРУДа. Ему был доверен один из самых ответственных постов в Москве – участок правительственной трассы, соединяющей Кремль с ЦК. Все его внимание сосредоточено на обеспечении правильного и безаварийного движения машин на обслуживаемой им территории, куда входит и Красная площадь. Естественно, что его показания представляют наибольшую ценность для решения вопроса о том, действительно ли демонстрация привела к нарушению нормальной работы транспорта. В рапорте он пишет:

Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спасских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно.

В протоколе допроса об этом ни одного слова. И что особенно странно – следователь его об этом тоже не спрашивает. И не только при первом допросе, но и впоследствии. Не спрашивает его, была ли задержана в движении машина, а если была, то на какое время.

Все это могло бы вызвать у защиты серьезные недоумения и подозрения. Но они остались бы только подозрениями, если бы не небрежность, недосмотр следователя. Тот самый недосмотр, который всегда помогает обнаружить ложь и фальсификацию.

Допрашивая Куклина 27 августа, следователь записал с его слов:

В этот же день (т. е. 25 августа) после сдачи смены я написал рапорт.

А на приобщенном к делу рапорте стоит написанная Куклиным дата – «3 сентября». Значит, это другой, новый рапорт, который написан взамен первого. Значит, содержание первого рапорта следствие не устраивало.

И не устраивало настолько, что работник городской прокуратуры изъял его из дела, то есть совершил уголовное преступление. Конечно, следователю ничего не стоило

договориться со свидетелем, чтобы тот датировал свой новый рапорт прежним числом, то есть 25 августа. Следовательно, очевидно, просто не обратил на это внимание. Забыл, что в показаниях Куклина есть эта последняя – изобличающая – строчка:

В этот же день я написал рапорт.

Многие, с кем мне приходилось разговаривать, уже здесь в Америке, спрашивали меня: – А зачем вам, адвокатам, надо было выискивать все эти противоречия, разрабатывать планы допроса свидетелей, если действительно исход всех этих политических процессов предрешен заранее? Если вы твердо знали, что никакие аргументы защиты на приговор суда не повлияют?

Этот же вопрос, но несколько в иной редакции, задавали мне в Советском Союзе. Там все сами понимали предрешенность этих дел. Там говорили просто:

– Ведь все равно известно, что их осудят, и осудят на тот срок, который определяют КГБ и партийные инстанции. Зачем тратить столько сил и нервов на заведомо обреченную защиту?

В те годы один из известных московских бардов написал песню «Юридический вальс».

Он посвятил ее адвокатам, участвовавшим в политических процессах:

Судье заодно с прокурором

Плевать на детальный разбор.

Им лишь бы прикрыть разговором

Готовый уже приговор.

А дальше об адвокатах:

Скорей всего, надобно просто

Просить представительный суд

Дать меньше по сто девяностой,

Чем то, что, конечно, дадут.

Откуда берется охота,

Азарт, неподдельная страсть

Машинам доказывать что-то,

Властям корректировать власть?..

Так откуда же, действительно, бралась охота, и если не азарт (это слово мне не кажется правильным), то неподдельная страсть?

Наверное, разные адвокаты должны были по-разному ответить на этот вопрос. Для некоторых главной движущей силой было стремление разоблачить, сделать наглядным для всех тот трагический фарс, каким являлись все политические процессы, в которых

нам приходилось участвовать. Но для меня разоблачение было следствием работы, результатом той тщательности, с которой готовилась к каждому делу, но не ее причиной. У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволить работать хуже, чем я умею, и, следовательно, хуже, чем я обязана.

Лариса Богораз и Павел Литвинов изучали дело тоже очень внимательно. С каждым из них я подробно обсуждала показания свидетелей, разъясняла намеченную мною линию защиты, учила тому, как правильно ставить вопросы. Особенно детально я готовила к предстоящему суду Ларису, которая решила, что в суде откажется от адвоката и будет защищаться самостоятельно, чтобы получить право, помимо последнего слова, произнести и защитительную речь.

В Советском Союзе адвокат, участвующий в политическом процессе, поставлен перед необходимостью осудить политические взгляды своего подзащитного. Дать им «правильную», «партийную» оценку. Лишь очень ограниченный круг адвокатов, выступавших в таких делах, отказывался следовать этой традиции. Пойти на большее, то есть солидаризироваться с политическими воззрениями и оценками подзащитных, и остаться после этого в адвокатуре было невозможно. Вот почему мы должны были сознательно ограничивать себя чисто правовыми аспектами защиты.

Я знаю, что ни тогда, ни позднее никто из самых требовательных и бескомпромиссных диссидентов не осуждал нас за это. Но даже сейчас, когда вспоминаю тот свой разговор с Ларисой, вспоминаю и острое чувство стыда, когда услышала от нее:

– Я должна сама произнести защитительную речь. Ведь кто-то должен от имени всех подсудимых открыто выступить против оккупации Чехословакии. Я думаю, что я это сделаю лучше других.

Я знала, что Лариса справится с этой задачей. Она обладала прекрасной способностью четко формулировать мысли. Ход ее рассуждений всегда строго логичен. И все же я особенно тщательно и придирчиво старалась оценить каждое слово, которое Ларисе предстояло сказать в суде. Я настойчиво повторяла:

– Помни, тебе могут запретить говорить о твоих взглядах и убеждениях, но никто не может лишить тебя права рассказать о том, почему ты пришла на Красную площадь. По закону суд обязан установить мотивы тех действий, в которых обвиняется подсудимый. Мы договорились с Ларисой, что о ее намерении защищаться в суде самостоятельно никто, кроме самых близких, знать не должен. Ей важно было сохранить право на встречи со мной до суда.

Договорились и о том, что после суда я вновь стану ее официальным защитником и буду представлять ее интересы в Верховном суде РСФСР в кассационной инстанции.

Так шли эти недолгие дни подготовки к делу. Каждое утро я ехала в Лефортово с чувством, что меня ждут, что я нужна. Какой тяжелой оказалась для меня потеря этого чувства в нынешней уравновешенной и размеренной жизни в эмиграции!..

Следователь Галахов был достаточно снисходительным «надзирателем». Скучая от безделья, он часто отлучался из кабинета, чтобы, как он говорил, «потрепаться» с кем-нибудь из знакомых следователей. В эти свободные минуты наедине мы переставали говорить о деле. Я рассказывала Павлу и Ларисе об их друзьях, о близких и родных им людях. Говорили о стихах, о любимых книгах, о кино.

С Ларисой больше всего говорила о ее сыне Саньке и о Толе Марченко. Рассказала ей и о том поразительном разговоре, который был у меня с народным судьей, судившим Марченко. Когда я в первый раз сразу после вынесения приговора по делу Анатолия Марченко зашла в кабинет судьи, он весьма нелестно отозвался о Ларисе (она была свидетелем по делу), Павле и других друзьях Анатолия, которых он видел в суде.

Он считал, что все эти интеллигенты просто боялись подписывать «открытые чешские письма» своими именами. Что они воспользовались Анатолием – «простым русским рабочим парнем» (как он его назвал) как прикрытием. Именно они обрекли его на тюрьму, а сами остались в безопасности.

28 августа, уже после демонстрации и ареста Павла и Ларисы, я вновь пришла в тот суд, чтобы сдать кассационную жалобу по делу Анатолия.

Секретарь суда сказала, что народный судья просил меня обязательно зайти к нему. Я вошла в зал судебного заседания, когда там слушалось какое-то уголовное дело. За судьейским столом сидели те же женщины – народные заседатели, которые участвовали в суде над Марченко. Одна из них увидела меня и, наклонившись к судье, что-то прошептала.

Неожиданно судья прервал свидетеля, объявив перерыв на пять минут, и, обращаясь ко мне, попросил зайти с ним в совещательную комнату. А там после небольшой паузы он произнес следующие слова:

– Нам всем, – и он кивнул на заседателей, и они тоже согласно кивнули головой, – очень хотелось увидеть вас, чтобы сказать, что мы были несправедливы. Мы неправильно думали и говорили о тех людях, если вам представится возможность увидеть их, скажите им об этом.

– Наверное, я их увижу и тогда обязательно передам ваши слова.

И хотя судья не назвал тогда ни одного имени, я считаю, что обещание выполнила, пересказав все это Павлу и Ларисе.

(Этот судья вскоре оставил свой пост. Как говорили, он сам отказался от выдвижения своей кандидатуры на новых выборах.)

Много позже Павел и Лариса в письмах, которые я получала от них из далекой ссылки, вспоминали эти наши долгие разговоры в Лефортове.

А ведь, честное слово, хорошее было времечко сентябрь-октябрь, да?...А халва, увы, для меня теперь дорога больше как память, кажись, заработала в этапах какую-то хворобу.

Диночка, пишу эту короткую записку пока. Мне просто захотелось поговорить с вами – просто так, ни о чем. Как тогда в сентябре,

– писала Лариса.

Милая, дорогая моя адвокатка! (Это мой лефортовский сосед говорил: – Опять к тебе адвокатка пришла.) Большое спасибо за суд, за наши разговоры в Лефортове. Помните? Так начиналось первое письмо, полученное мною от Павла Литвинова.

Помню. Грустное и смешное. Важное и незначительное. Помню до нелепых, никому, кроме меня, не нужных подробностей, плотно осевших в памяти.

20 сентября 1968 года адвокаты и обвиняемые полностью закончили ознакомление с материалами дела.

В этот же день я заявила ходатайство об отмене постановления следователя о выделении дела в отношении Файнберга и об исключении из обвинения Ларисы Богораз эпизода, связанного с подачей ею заявления об объявлении забастовки. В тот же день в удовлетворении ходатайства мне было отказано. Аналогичный отказ в ходатайстве, связанном с делом Файнберга, получили и остальные адвокаты. Нам было ясно, что КГБ ни при каких условиях не согласится на то, чтобы Файнберг появился в открытом судебном заседании с выбитыми при разгоне демонстрации зубами.

Секретно. Экземпляр № 8

«Утверждаю»

Заместитель прокурора города Москвы

23 сентября 1968 г.

В. Колосков

Отпечатано в 15 экземплярах

Составлено 20 сентября 1968 г.



Заказ № 333/531 23 сентября 1968 г.

Документ, первые и последние строчки которого я привела и о секретности которого со всей категоричностью свидетельствует специальный гриф в правом верхнем углу страницы и указание на количество отпечатанных экземпляров, – это обвинительное заключение по делу № 41074/56-68с о демонстрации на Красной площади. Буква «с» в конце номера – это тоже индекс секретности. Одна эта буква, стоящая на обложке каждого из томов, определяет особый путь, которым дело, минуя общие канцелярии, попадает прямо в «Специальный отдел» Московского городского суда, регистрируется по особой картотеке «Специальной канцелярии». И дальше дело пойдет этим особым, «специальным» путем, вплоть до Верховного суда. «Специальная» канцелярия, «специальная» регистрация, «специальный» состав судебной коллегии, который будет рассматривать дело.

Все, кто занимался делом о демонстрации, знают, что в его материалах нет ничего, что может быть признано секретным. Здесь гриф «Секретно» – это «уши», все время тщательно скрываемые, но все же вылезающие уши КГБ. Это его индекс, его «специальная» канцелярия, его «специальный» состав суда. Поэтому, когда советские власти во всеуслышание, для всего западного мира утверждали, что дело о демонстрации на Красной площади – это обычное уголовное дело, они лишь пытались скрыть значение, которое сами же этому делу придавали, вручив судьбу демонстрантов органу, охраняющему государственную безопасность Советского Союза.

Все те понятные советским юристам приметы участия КГБ в расследовании дела, о которых я уже писала (содержание арестованных в следственном изоляторе КГБ, необычно быстрое расследование дела), вновь нашли свое подтверждение.

Я уже не удивлялась молниеносности, с которой дело поступило в суд и было назначено к слушанию. Всего 9 рабочих дней оставалось до даты, на которую было назначено рассмотрение дела. За эти 9 дней должен быть назначен судья, вручены копии обвинительных заключений всем обвиняемым (не менее чем за трое суток до суда), разосланы повестки всем свидетелям, часть из которых живет в отдаленных от Москвы районах страны. Адвокаты должны иметь время для дополнительного изучения дела и свиданий со своими подзащитными.

Но главное – это судья. Судья, который еще не видел дела, которому предстоит изучить три больших тома следственных материалов; решить вопрос, достаточно ли собрано доказательств для предания обвиняемых суду, подготовиться к допросу более тридцати свидетелей.

Я могу твердо сказать, что девятидневный срок – это больше, чем исключение. Это уникальный по своей краткости срок, требующий для его соблюдения уникальной слаженности во всех звеньях судебной системы.

Суд успел сделать все.

Уникальную заботу проявили в отношении защитников.

Судьям народных судов, Городского суда и даже Верховного суда РСФСР было предложено снять со слушания и перенести на другие числа все дела, в которых должны были участвовать в тот период времени адвокаты Каллистратова, Каминская, Монахов и Поздеев.

Все было подчинено одному – закончить рассмотрение дела в предельно сжатый, кем-то в очень высоких инстанциях установленный срок. (Мне тогда говорили, что это указание исходило от ЦК КПСС.)

Я рассталась с Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз 20 сентября. И вот прошла всего неделя, и я вновь еду к ним знакомой дорогой в Лефортовскую тюрьму.

– Что случилось, Дина Исааковна? Я вас не ждал так скоро, – мне кажется, именно так встретил меня Павел. И уже потом: – Простите, я даже не поздоровался.

В нашем кабинете полная тишина. Изредка обмениваемся какими-то невыразительными репликами. Все остальное время пишем. Павел прекрасно понимает, что наше свидание наедине прослушивается и записывается от начала до конца. Не сомневаюсь в этом и я.

В этот день я пришла в тюрьму очень рано. Специально спешила, чтобы не ждать в «адвокатской очереди», чтобы сразу получить кабинет. И действительно, в приемной, где мы, адвокаты, выписываем требования на свидания с подзащитными, я была одна.

И началось ожидание. Дежурный, у которого я время от времени спрашивала, когда же я получу кабинет, неизменно отвечал:

– Приходится подождать – все кабинеты заняты.

А потом мы шли с ним по коридору к освободившемуся наконец кабинету. Узкий коридор. С правой стороны окна, с левой – двери в кабинеты для свидания. Все двери раскрыты нараспашку. Все кабинеты пусты. Я была единственным посетителем в эти ранние часы. Мне выделили для работы последний кабинет. Самый неудобный – в нем не было даже звонка для вызова дежурного. Когда кончается свидание, надо выходить в коридор и кричать в старинный рожок:

– Дежурный! Дежурный!!!

И опять ждать и гадать – услышал он твой крик или нет. Я попросила разрешения занять любой другой кабинет – там и удобные столы, и специальные звонки. Мой сопровождающий ответил с полной категоричностью:

– Ничего не могу сделать, товарищ адвокат. Приказано предоставить вам именно этот кабинет.

Как я могла расценить и этот отказ, и долгое, на первый взгляд бессмысленное ожидание? У меня на это только один ответ.

Я пришла слишком рано. К моему приходу кабинет не успели оборудовать специальной прослушивающей аппаратурой.

Вообще-то это было идиллическое время. Мы работали в этих старых кабинетах-клетушках, в которых обычно происходят в присутствии конвоя свидания осужденных с родственниками. Поэтому там и не было постоянной звукозаписывающей аппаратуры. Позже нам стали предоставлять большие светлые кабинеты на втором этаже с хорошими письменными столами и неизменным телевизором. Там даже переписываться с подзащитным стало опасно.

А почему опасно? Что криминального происходило во время свидания адвоката со своим подзащитным? Что незаконного приносили им или уносили от них?

Я приносила. Волнуясь, страшась разоблачения, но приносила курящим – сигареты, которые они курили во время свидания, а потом поштучно засовывали в специально принесенную пустую пачку от таких же сигарет, чтобы иметь возможность взять их с собой в камеру. Некурящим – шоколад, который тоже тайком, отламывая по кусочку, они съедали в моем присутствии, а обертку от которого я засовывала обратно в портфель.

Какие запрещенные темы обсуждали мы во время свидания наедине, что нам приходилось опасаться подслушивания?

Я рассказывала Павлу и Ларисе о всех передачах западного радио о предстоящем над ними суде.

А это запрещено.

Я рассказывала о судьбе их друзей и товарищей, о том, что приговор по делу Анатолия Марченко оставлен в силе, а сам Толя уже в тюрьме в городе Соликамске.

Это тоже запрещено.

Я пересказывала им, а иногда давала читать письма от родителей, жен, невест, друзей. Письма полные нежности, заботы о них, выражения гордости за них и восхищения их мужеством.

Если внимательно читать мое досье, то можно наткнуться на такие записи.

Том 2, лист дела 87. Показания свидетеля Веселова.

25 августа я пришел. «Милый мой бесценный друг! До сих пор не могу себе простить, что меня не было в Москве в тот трудный и великий ваш день. О вас мне много говорят и много пишут. Все отдают вам великую честь».

И дальше многочисленные приветы и выражения надежды на скорую встречу «куда бы ни занесла вас судьба».

Просто дать прочитать такое письмо Павлу (это ему оно было адресовано) я не могла, это запрещено. Вот и вынуждена была, перелаывая свою природную дисциплинированность и законопослушность, идти на эту примитивную, но безотказно меня выручавшую конспирацию. Я делала это потому, что была уверена тогда, равно как и сейчас, что правосудие не пострадает оттого, что обвиняемые будут знать, что они не забыты, что о них думают, что демонстрация не прошла бесследно.

Павел и Лариса, с точки зрения любого адвоката, «отличные» подзащитные. Умные, образованные, умеющие прекрасно формулировать свои мысли. Они ставили перед собой единственную задачу – рассказать правду о том, почему пришли на Красную площадь, какие мотивы руководили ими. Каждый из них независимо и самостоятельно определил и линию своего поведения в суде – не отвечать на вопросы о действиях других.

Мне не нужно было учить их, что говорить. Я должна была лишь корректировать форму их показаний в соответствии с процессуальными требованиями закона.

Это была совсем несложная задача. И все же.

Целые страницы, зачеркивая потом все написанное строчку за строчкой, посвящали мы разработке отдельных аспектов защиты. Тому, как надо отвечать на вопросы и как их ставить.

Это разрешенная для обсуждения тема. Но ведь мы вовсе не были заинтересованы в том, чтобы наша аргументация заранее становилась известной прокуратуре и КГБ, а значит, и тем специалистам, избличать которых во лжи нам предстояло в суде.

Так поступала не только я. Этим же способом пользовались многие адвокаты. Помню, как Каллистратова после свидания с Вадимом Делонэ говорила мне:

– Диночка, хорошо, что я уже вполне пожилая женщина. А то что бы они (имелась в виду тюремная администрация. – Д.К.) должны были обо мне подумать! Я три часа провела на свидании с Вадимом, и за все это время, кроме «Здравствуй, Вадим» и «До свидания, Вадим», ничего не сказала.

Нужно сказать, что сам факт прослушивания не представлял для меня чего-нибудь нового или необычного. Прослушивание стало бытовым явлением, прочно вошло в жизнь многих семей. Я знала, что не только телефонные разговоры, но и вообще каждый шорох в моей квартире прослушивается круглосуточно. Знала и то, когда именно нашу квартиру к этому прослушиванию подключили.

Это случилось в конце октября 1967 года. Уже после суда над Владимиром Буковским и после того, как я заканчивала знакомиться с многотомным делом Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других, обвинявшихся в антисоветской агитации и пропаганде. Судебный процесс над ними был еще впереди.

Как-то вечером у меня дома собрались гости. Наш разговор был прерван появлением моего сына Дмитрия. Он вошел в комнату как-то очень растерянно улыбаясь.

– Папа, – сказал он, – ты мне очень нужен, выйди ко мне на несколько минут.

Муж вернулся очень скоро. Он был растерян не меньше сына.

– Я должен сказать вам, что весь разговор, каждое слово, которое вы произносите в этой комнате, отчетливо слышно в комнате сына. Стоит только снять телефонную трубку.

Мы жили в трехкомнатной квартире с двумя коридорами. Комната сына – первая от входной двери, наша – последняя. Нас разделяли два коридора и большая комната, в которой тогда жила моя мать. В моей комнате не было ни телефонного аппарата, ни проводки для телефона.

Первой моей реакцией было:

– Не может быть!

Но вот я уже стою в комнате сына и, сняв телефонную трубку, слушаю. Долгий телефонный гудок – и сквозь него.

Мне никогда до этого не приходилось с такой отчетливостью слышать человеческий голос и каждый звук – шум льющегося в бокал вина, легкий звон стекла... – все, как бы усиленное в громкости, доносится до меня из телефонной трубки.

Потом мои гости по очереди совершали этот путь от обеденного стола в комнату сына. Каждый хотел убедиться сам. Все единодушно считали, что прослушивающее устройство установлено не только в телефонном аппарате, но и непосредственно в моей комнате.

Если это действительно так, то я с очень большой степенью вероятности могу предположить, кто и когда это сделал.

Среди наших знакомых был человек, с которым в течение многих лет мы регулярно встречались на театральных премьерах, на просмотрах новых кинофильмов. Но он никогда не бывал в нашем доме, равно как и мы никогда не бывали у него.

За несколько дней до описываемого вечера он позвонил и сказал, что ему нужно срочно посоветоваться по какому-то юридическому вопросу. Я предложила ему прийти ко мне в консультацию, но он так настойчиво говорил, что хочет получить совет от нас обоих, что очень важно, чтобы в обсуждении принял участие и мой муж, что пришлось разрешить ему прийти к нам домой.

Когда он ушел, мы с мужем долго удивлялись – а зачем, собственно, он приходил? Настолько несерьезным оказался вопрос, ради которого он стремился встретиться с нами. За этим человеком в течение многих лет шла недобрая слава секретного осведомителя КГБ. Мы с мужем никогда не позволяли себе верить во многие порочащие человека слухи, лишённые реальных и бесспорных оснований. Но тогда он оказался единственным, кого я могла подозревать.

История с телефоном нас не напугала и даже не взволновала. Приняли ее как естественное развитие моей адвокатской деятельности и тогда же решили: для нас это не существует. В своем доме мы должны жить свободно, иначе жизнь станет просто невыносимой.

На следующий день после того, как мы узнали, что наша квартира прослушивается, раздался звонок в дверь. Передо мной стоял незнакомый мужчина в темном пальто и меховой шапке.

– Я с телефонной станции. Пришел проверить, как работает ваш телефон.

– Как это любезно, – сказала я. – Ведь мы мастера не вызывали.

– Это теперь у нас новая форма обслуживания – сами ходим проверяем свой участок.

Имеются у вас жалобы на работу телефона?

Поверить в то, что это действительно обычный телефонный мастер и что советский сервис достиг такой небывалой высоты, я, естественно, не могла. Скрывать обнаруженный дефект в подслушивающем устройстве я не хотела. Выслушав мой рассказ о появившейся у нас счастливой возможности быть в курсе всего, что происходит в других комнатах моей квартиры, «телефонный мастер» быстро сказал:

– Это индукция. – И, увидев недоумение на моем лице, вновь уверенно повторил: – Это индукция.

Новый телефонный аппарат он предусмотрительно захватил с собой, чтобы заменить им наш старый. Прощаясь с мастером, я протянула ему рубль. Наш «мастер» от денег

отказывался с негодованием. Наш «мастер» от денег отказывался с негодованием. И все же рубль он взял. Очевидно, моя аргументация показалась ему убедительной. И что мог он возразить на мои слова:

– Если вы действительно мастер с телефонной станции, то и ведите себя соответственно. Они никогда от денег не отказываются.

После его ухода я решила позвонить в районное бюро ремонта и попытаться выяснить, кто же был этот человек. Я сказала, что хочу направить в их адрес благодарность мастеру за быстрый и качественный ремонт. Там долго проверяли заявки и наряды на ремонт, а потом ответили:

– Это какое-то недоразумение. Мы к вам мастера не посылали.

С тех пор в кругу моих друзей слово «индукция» полностью заменило длинное и неблагозвучное слово «прослушивание». Когда кто-нибудь говорил:

– У меня телефон с индукцией, – всем было понятно, о чем идет речь.

Хотя наше дело рассматривал по первой инстанции Московский городской суд, местом его слушания был избран народный суд Пролетарского района Москвы. Этот суд расположен в старинном здании, выходящем одной стороной на набережную реки Яузы, а всем своим фасадом – в небольшой переулок. Здесь всегда тихо – нет больших домов-новостроек, а переулок настолько узкий, что по нему нет сквозного движения транспорта. Процесс был назначен на 9 октября 1968 года в 9 часов утра – ровно на один час раньше установленного законом начала рабочего дня в народных судах и в Городском суде.

И место слушания, и это раннее необычное время – все для того, чтобы, по возможности, скрыть от «нежелательной» публики, где и когда будет слушаться дело. Чтобы все те, кого условно объединяют термином «либеральная интеллигенция», да еще иностранные корреспонденты не успели приехать до открытия судебного заседания.

Как только я показалась в переулке, меня плотно окружила толпа.

Знакомые и незнакомые, молодые и пожилые. Это те, кто, несмотря на старания властей, пришли сюда по доброй воле. Кто волнуется за исход дела. Кому дороги подсудимые. Кто хотя бы самим фактом присутствия хочет выразить солидарность с ними. Все они останутся стоять на улице – их в зал суда не впустят. Практически здание народного суда было полностью заблокировано. Не пускали не только посторонних, не только эту нежелательную публику, но даже и работников самого

народного суда. Весь народный суд Пролетарского района полностью прекратил работу на время слушания дела о демонстрации.

С трудом пытаюсь пробиться к входной двери сквозь негодующее:

– Почему нас не пускают?

– Почему каких-то специально подобранных людей проводят через запасной ход?

– Мы требуем, чтобы нас пропустили!

– Вы должны заявить ходатайство!

Но вот уже кто-то крикнул:

– Пропустите адвоката!

Уже проверено мое адвокатское удостоверение, и я в здании.

На третьем этаже, где должно слушаться наше дело, – пусто. Закрыты двери в судебные залы, расположенные по одну сторону коридора. Напротив дверь канцелярии по уголовным делам. Из нее слышны голоса, и я захожу туда.

Я никогда не служила в армии, но в моем представлении примерно так должен выглядеть ее штаб перед ответственным наступлением. Председатель Московского городского суда Осетров, помощник прокурора Москвы Фунтов, какие-то неизвестные мне высокие чины из КГБ плотным кольцом окружили нашу судью Лубенцову. Несколько в стороне председатель Московской коллегии адвокатов Константин Апраксин.

Все руководство заинтересованных организаций: суда, прокуратуры, КГБ и адвокатуры – собралось здесь, чтобы осуществлять оперативное руководство работой «независимого» суда, прокурора и адвокатов. Мне в этом «штабе» делать нечего, и я возвращаюсь в коридор и наблюдаю, как Софью Васильевну Каллистратову так же, как и меня минуты назад, окружили взволнованные, что-то ей непрерывно говорящие люди. Вижу, как она согласно кивает им головой, как перед ней расступаются, уступают дорогу.

Валентину Федоровну Лубенцову, члена Московского городского суда, которой поручено рассматривать дело о демонстрации на Красной площади, я знала много лет, и знала довольно хорошо. Настолько хорошо, насколько вообще в Советском Союзе адвокат может знать судью. Я встречалась с ней в суде и только по профессиональным делам. Лубенцова всегда была приветлива, в судебном заседании неизменно корректна. Не отличаясь ни выдающейся образованностью, ни выдающимся умом, она была опытным судьей, разумно строгим и разумно либеральным.



Я часто выступала в уголовных процессах под ее председательством. Были дела, в которых она соглашалась с моими доводами, бывали и такие, когда она их отвергала. Но и в этих последних у меня не было оснований считать выносимый ею приговор вопиюще несправедливым.

По всему строю своей психологии Лубенцова вполне советский человек, принимающий эту власть и в основном ею довольный. Она жена офицера – полковника Советской армии, причем полковника не строевого, а работающего в Москве в Министерстве обороны. Жили они в хорошей, благоустроенной квартире.

Думаю, что Лубенцова любила свою работу; во всяком случае, очень дорожила ею. Ее мировоззрение – это конформизм, причем конформизм искренний. Она верила в то, что ей говорила Партия, и, как бы ни менялись партийные установки, принимала каждую новую как единственно правильную.

В том, 1968-м, году процесс демократизации в Чехословакии был предметом оживленных и достаточно откровенных споров в любой аудитории. Единственный слой городского общества, с которым я никогда не имела общения и о мнении которого, естественно, судить не могу, – это партийный аппарат во всех его звеньях.

Многие из тех, с кем говорила я тогда, действительно поддерживали курс советского правительства. Они верили, что в Чехословакии идет процесс реставрации капитализма, что существует реальная угроза вторжения в Чехословакию западногерманских войск. Кроме того, часто приходилось слышать и такие аргументы: – Мы за них кровь проливали, они нам обязаны спасением от фашизма, а теперь они нас же и предают.

Но хотя людей, веривших в это, было много, я вовсе не уверена, что их было большинство. Не менее часто приходилось сталкиваться с теми, для кого процесс либерализации в Чехословакии перестал быть событием внешней политики. Они воспринимали Пражскую весну как пример, вселяющий надежду на более свободную жизнь и внутри нашей страны.

Чехам в то время завидовали, ими восхищались.

Либеральная интеллигенция восприняла вторжение советских войск в Чехословакию как национальную трагедию нашей страны и как ее национальный позор.

Судья Лубенцова была из тех, кто верил советской пропаганде и оправдывал вторжение советских войск, считая эту акцию советского правительства разумной и даже необходимой. В ее глазах демонстрация на Красной площади была преступной, даже если формально она ни под какую статью уголовного кодекса не попадала. Тут

действовало то самое «социалистическое правосознание», руководствоваться которым закон обязывает судей (статья 16 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). А правосознание советских судей – «это прежде всего отражение в их сознании партийных и государственных идей» (Комментарии к статье 16 Кодекса).

Лубенцова считала справедливым, что участников демонстрации на Красной площади судят; считала, что они заслуживают наказания. Но в то же время это ее убеждение носило несколько общих, абстрактный характер и не отражалось на личном отношении к подсудимым.

Как-то за несколько дней до начала нашего дела я была в одном из народных судов Москвы. О женщине-судье, с которой мне надо было встретиться, адвокаты говорили:

– Она такая жалостливая! Оправдывать она не любит, но зато и суровых приговоров не выносит.

Так вот, эта «жалостливая» судья сказала мне:

– Если бы я была в то время на Красной площади, я собственными руками вырвала бы их бесстыжие глаза, и сделала бы это с удовольствием!

Ее лицо при этом выражало такую неподдельную ненависть и жестокость, что заподозрить ее в неискренности было нельзя. Я ничего ей не возразила. Смолчала и тогда, когда присутствовавший при этом разговоре юноша-секретарь судебного заседания сказал:

– Как вы можете так говорить! Ведь даже слушать вас и то стыдно.

Я смолчала потому, что чувствовала – стоит мне заговорить, и я не смогу сдержаться себя, удержаться в нужных рамках корректности. Да у меня и не могло быть с ней общего языка, не было надежды на взаимопонимание.

Уже после суда, когда Лариса, Павел и Константин Бабицкий были осуждены на долгие годы ссылки, некоторые судьи выражали недовольство неоправданной, на их взгляд, «мягкостью» приговора:

– Их не в ссылку надо было, а в лагерь, да еще строгого режима, вместе с отпетыми уголовниками. А ссылка – это разве наказание для таких негодяев?!

Уверена, что Лубенцова подобных чувств не испытывала. Во всяком случае, никогда ни в разговорах с ней до суда, ни в ее поведении в судебном заседании, ни во время многих и достаточно откровенных с ней разговоров об этом деле уже после суда – я не почувствовала проявления пренебрежения или презрения к подсудимым, сожаления, что ей пришлось наказать их недостаточно сурово.

Насколько я знаю, дело о демонстрации на Красной площади было первым политическим процессом в судебной практике Лубенцовой. Поставленная в условия, при которых ничего не могла решать сама, когда ей заранее было указано и то, что нужно осудить всех подсудимых, и то, по каким статьям и к какому сроку наказания каждого из них, она приняла эти условия как естественные для такого необычного дела и ничем не унижающие ее судейского достоинства.

В своем неизменном скромном костюме она сидела за судейским столом не проявляя волнения, недовольства или повышенного раздражения. Лубенцова исполняла отведенную ей роль руководителя судебной постановки с профессиональным умением, но, как мне кажется, без всякого интереса. Судья, которую всегда интересовал вопрос «Почему?», здесь не только избегала его задавать, но и весьма неохотно выслушивала объяснения подсудимых, как только они переходили к мотивам или причинам своих действий. Она отказывала адвокатам и подсудимым в удовлетворении всех существенных ходатайств с короткой, но вполне категорической формулировкой:

– Суд не видит в этом необходимости.

И она была права. В этом действительно не было необходимости. Каким бы ни оказалось содержание документов, об истребовании которых просила защита, какие бы показания ни дал в суде свидетель, о допросе которого ходатайствовали обвиняемые, все подсудимые все равно были бы осуждены с той формулировкой обвинения, которая была одобрена и утверждена еще до суда.

Каждый советский адвокат может привести не менее вопиющие примеры, когда судья отбрасывает как несущественное все то, что говорит в пользу обвиняемого, даже не пытаясь проверить обоснованность обвинения в той или иной его части. Но ведь Лубенцова не принадлежала к числу таких судей. Для нее эта тенденциозная манера ведения судебного следствия, когда все было подчинено заранее принятому решению, была исключением.

После дела о демонстрации на Красной площади Лубенцовой часто поручали рассматривать политические дела, но я уже в них не участвовала. Знаю только из рассказов моих коллег, что она из процесса в процесс игнорировала не только все спорное, но и все то, что безусловно свидетельствовало в пользу обвиняемых. Сначала это не отражалось на ее поведении в обычных уголовных делах. Но приобретенная при рассмотрении политических дел привычка к нарушению закона оказалась мстительной. Все чаще и все более четко стали проявляться несвойственные ей раньше черты бездушного чиновника.

– Лубенцова уже не та, – говорили не только адвокаты, но и прокуроры и даже секретари судебных заседаний.

Прошло несколько лет, и стали забывать о времени, когда участвовать в деле под ее председательством было удачей. Когда можно было сказать подсудимому:

– Вам повезло, ваше дело будет рассматривать хороший судья.

Но вот ровно в 9 часов в переполненном до отказа зале раздается:

– Подсудимая Богораз – доставлена.

– Подсудимый Литвинов – доставлен.

– Подсудимый Делонэ – доставлен.

– Подсудимый Бабицкий – доставлен.

– Подсудимый Дремлюга – доставлен.

Это судья Лубенцова называет каждого из подсудимых, а секретарь свидетельствует о том, что он доставлен в судебное заседание.

В первые минуты слушания дела я волнуюсь больше обычного. Сейчас я защитник Ларисы Богораз и Павла Литвинова. Пройдет несколько минут, и у меня останется один подзащитный – Лариса заявит суду, что будет защищаться сама. Первый раз в моей жизни подзащитный будет отказываться от моих услуг. И хотя я знаю, что Лариса заявит это ходатайство абсолютно корректно, все же не могу отделаться от неприятного чувства уязвленного самолюбия.

Остальные ходатайства общие у всех подсудимых и их адвокатов. Их несколько. Мы просили:

1. Включить в список лиц, подлежащих допросу в судебном заседании, дополнительно 6 свидетелей.

Советское право не знает понятий «свидетелей обвинения» и «свидетелей защиты». Закон обязывает следователей включать в список свидетелей для вызова в суд – как тех, кто дает показания против обвиняемых, так и тех, кто свидетельствует в их пользу. Свидетели Леман, Великанова, Медведовская, Баева, Русаковская, Панова были допрошены на предварительном следствии. Все они дали показания в пользу подсудимых. Ни одного из них следователь в список не включил.

2. Направить дело на доследование для объединения его с делом Виктора Файнберга. Это повторение того ходатайства, которое мы заявляли при ознакомлении с делом.

3. Направить дело на доследование для установления лиц, производивших задержание обвиняемых, и расследования правомерности их действий.

Суд удовлетворил ходатайство Ларисы и предоставил ей право защищаться самостоятельно. Частично удовлетворил наше ходатайство о вызове свидетелей. Из шести человек, о допросе которых мы просили, вызвали трех – Лемана, Великанову и Медведовскую. Во всех остальных ходатайствах нам было отказано.

Оглашается обвинительное заключение.

Потом начнутся допросы подсудимых и свидетелей. Наверное, сейчас последний момент, когда могу представить подсудимых читателю, пользуясь тем, что считал необходимым сообщить о них следователю, и тем, что сообщили они сами о себе.

Владимир Дремлюга. Ему 28 лет. Из тех сведений, которые он сообщил о себе, знаю, что в 1958 году он был исключен из комсомола за «разрушение советской семьи, неуплату членских взносов». Кроме того, он был исключен из Ленинградского университета с формулировкой: «За поведение, недостойное советского студента». Подлинной причиной исключения была следующая история.

Дремлюга жил в коммунальной квартире. Его соседом был бывший сотрудник КГБ, к которому, судя по всему, Владимир особых симпатий не испытывал. Дремлюга договорился со своим товарищем, и тот передал через соседа письмо, на конверте которого было написано: «Капитану КГБ Владимиру Дремлюге». Эта, на мой взгляд, не самая удачная шутка была расценена как дискредитация органов государственной безопасности и повлекла за собой исключение из университета.

Официальная характеристика Дремлюги дополняется тем, что он был судим за совершение уголовного преступления – перепродажу автомобильных покрышек, и тем, что во время обыска у него был изъят вполне внушительный по количеству имен «донжуанский» список.

Это все из материалов дела. А в памяти лицо Владимира, полное живого интереса ко всему окружающему, и его шутки во время перерывов, и никакого уныния, никакой растерянности. И то, как уже на второй день процесса Владимир говорит мне, показывая на сидящих в зале двух действительно очень красивых девушек:

– Не правда ли, эта особенно мила?.. Неужели вы находите ту более красивой? И знаете – я влюблен. Не смейтесь, Дина Исааковна! Я действительно влюблен.

Константин Бабицкий. 39 лет. Он закончил два высших учебных заведения, он математик и филолог. Научный работник, опубликовавший 12 работ. К моменту ареста еще три написанные им научные работы были приняты к печати. У Бабицкого жена и трое детей. Старшему 15 лет, младшему – 10.

Это тоже из материалов дела.

А в памяти выражение сосредоточенности и углубленности в себя. Интеллигентная и очень достойная манера, в которой он отвечает на вопросы и дает показания. И глубокая убежденность, звучащая в голосе, когда он, обращаясь к суду, говорит:

– Вы видите перед собой людей, взгляды которых в чем-то отличаются от общепринятых, но которые не меньше любого другого любят свою родину и свой народ и потому имеют право на уважение и терпимость.

Владимир Делонэ. 21 год. «Холост, образование среднее, без определенных занятий, судим».

После первого судебного процесса Вадим уехал из Москвы и учился в Новосибирском университете. Писал стихи. Дважды был награжден за свое творчество премиями.

Летом 1968 года решил вернуться в Москву. 12 августа он получил паспорт с временной московской пропиской. 25 августа он был арестован – в его распоряжении было 8 рабочих дней для трудоустройства. Он уже подыскал и место будущей работы, но оформить его там не успели. И следователь записал в его анкетных данных: «Без определенных занятий».

Я не видела Вадима с того самого дня – 1 сентября 1967 года, когда его освобождали из-под стражи в зале Московского городского суда. Тогда передо мной был мальчик, которого я жалела. Теперь – серьезный, спокойный человек, обретший уверенность в правоте своего поступка.

Изменился стиль его показаний. Слова, которые он употреблял, стали строже, исчезла изысканность и артистичность – появились сдержанность и уверенность. То, что он говорил, звучало не менее искренне, чем тогда, когда слушала его впервые. Он не утратил, а приобрел. И этим приобретением было чувство собственного достоинства.

Павлу Литвинову 28 лет. «Образование высшее, по профессии физик, без определенных занятий, на иждивении сын восьми лет».

Литвинов – фамилия в Советском Союзе широко известная. Максим Литвинов был одним из самых активных деятелей еще старой дореволюционной большевистской партии. Он был крупнейшим советским дипломатом, в течение долгих лет – народным комиссаром (министром) иностранных дел, представлял Советский Союз в Лиге Наций, был послом в США.

Павел – его внук.

Жизнь Павла была вполне благополучной. Окончил университет, работал ассистентом на кафедре физики. Любил своих учеников, и они любили его. Так было до тех пор, пока он не стал активным участником правозащитного движения. В результате –

увольнение из института, где он преподавал, невозможность устроиться на работу. И все же его нельзя было назвать человеком «без определенных занятий». Он давал частные уроки физики, имел постоянный заработок, который обеспечил ему скромное, но все же независимое существование.

Весь последний год до ареста Павел жил под постоянным наблюдением агентов КГБ, которые следовали за ним буквально неотлучно. Они не отрывались от него ни на минуту. Дежурили около его дома, ждали его выхода, сопровождали его на улице, в троллейбусах, метро. Следовали за ним в специальной оперативной машине, если он ехал на такси. Это не с чужих слов рассказываю – сама видела, когда Павел приходил ко мне в юридическую консультацию.

Ларисе 39 лет. Она кандидат наук, ученый. Лариса – мой друг. Я знаю ее не в пример лучше, чем других обвиняемых. Я люблю ее за мягкость и доброту, за верность в дружбе, за готовность помочь каждому, кто в ее помощи нуждается. Как-то один очень недоброжелательно относящийся к ней человек сказал мне:

– Я согласна с вами, что она мужественная женщина, но она плохая мать и плохая дочь. Разве не должна была она подумать о сыне и о стариках-родителях?

Я уверена, что этот упрек жесток и очень несправедлив.

Очень много думаю о Санюшке и не только думаю, а все время вспоминаю, каким он был тогда, каким вот тогда. Знаешь, – всегда хорошим. Я его очень люблю. А сейчас – с особой нежностью и болью.

У меня к тебе большая непрофессиональная просьба. Милая, звони время от времени моим родителям, – просто чтобы утешить их, развлечь, дать возможность поговорить обо мне. Не могу отвлечься от мысли о том, как им сейчас трудно.

Так писала мне Лариса из своей далекой ссылки, где мучительно тяжелый быт и полное одиночество.

Сколько нежных слов о «Санюшке», о родителях пришлось мне услышать от Ларисы в часы наших с ней свиданий до и после суда! В них не только любовь к ним, но и постоянная забота, беспокойство и подлинная боль из-за причиненного им горя.

Тогда, в первые часы судебного заседания, слушая скудные сведения, которые каждый из подсудимых сообщал о себе, я все время думала: «Какие они разные, ни в чем не похожие друг на друга...»

А теперь – показания в суде (в том же порядке, который избрала, рассказывая о каждом из них).

Владимир Дремлюга:

Я решил принять участие в демонстрации уже давно, еще в начале августа. Решил, что, если в Чехословакию войдут войска, я буду протестовать. Всю свою сознательную жизнь я хотел быть человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Я знал, что мой голос прозвучит диссонансом на фоне общего молчания, имя которому «всенародная поддержка партии и правительства». Я рад, что нашлись люди, которые вместе со мной выразили протест. Если бы их не было, я вышел бы на площадь один.

Константин Бабицкий:

Полагая, что ввод советских войск в Чехословакию наносит прежде всего вред престижу Советского Союза, я считал нужным донести это свое убеждение до сведения правительства и граждан. Для этого в 12 часов 25 августа я явился на Красную площадь.

Я шел на Красную площадь с полным сознанием того, что я делаю, и с пониманием возможных последствий.

Вадим Делонэ:

21 августа я узнал о вводе советских войск в Чехословакию и был возмущен этой акцией правительства. Мне казалось, что если я не выражу своего протеста, то тем самым своим молчанием поддержу это действие. Я не стыдился и не стыжусь сейчас, стоя перед судом, своих действий, своего участия в протесте против ввода советских войск в Чехословакию.

Павел Литвинов:

21 августа советские войска перешли границы Чехословакии. Я считаю эти действия советского правительства грубым нарушением норм международного права. Мне очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее – еще когда шел на Красную площадь. Тем не менее я вышел на площадь. Для меня не было вопроса – выйти или не выйти?

Лариса Богораз:

Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка. Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать:

– Я против, я не согласна.

Если бы я этого не сделала, я бы считала себя ответственной за действия правительства.

Мне кажется, более того – я почти уверена, что если бы написала эти выдержки из показаний единым потоком, то вряд ли кто-нибудь мог определить, какие слова из



приведенных мною принадлежат исключенному из комсомола Дремлюге, а какие – серьезному ученому Константину Бабицкому. Что говорил начинающий жизнь студент Вадим Делонэ, а что – зрелый человек, кандидат наук Лариса Богораз. Общая нравственная основа их подвига как бы сравнивала их, определял и общую позицию, и общий стиль поведения в суде.

Дело о демонстрации на Красной площади было третьим политическим процессом в моей практике. В первых двух КГБ удавалось противопоставить одних обвиняемых другим. В этом же деле, хотя и были объединены очень разные люди с разным жизненным опытом и разной степенью образованности, я не могу выделить никого, ни за кем не могу признать преимущества в мужестве, стойкости и нравственности занятой позиции.

Среди подсудимых не было главных и второстепенных, не было организаторов и вовлеченных. Не было и сомневавшихся или раскаявшихся. Каждый из них был готов разделить судьбу остальных. В этом несомненная особенность судебного процесса о демонстрации на Красной площади.

Первый день судебного процесса мы работали с 9 часов утра до 7 часов 30 минут вечера. Второй день не легче – начали судебное заседание в 10 часов утра, а закончили в 10 часов 45 минут вечера – почти 13 часов напряженной работы в переполненном, непроветриваемом зале. Каждые два – два с половиной часа перерыв на 10 минут. Для меня и Калистратовой – вожденный перекур. Но и на это времени хватает далеко не всегда. Перерыв – время, когда суд разрешает беседовать с нашими подзащитными. Перерыв – время, когда их родственники окружают нас с бесчисленным количеством одинаковых вопросов.

– Как прошел допрос?

– Какое впечатление от свидетеля?

Но, если бы даже не это, передохнуть за эти 10 минут невозможно – просто негде. Небольшой коридор, плотно забитый людьми, грязно и шумно. Специальной комнаты для отдыха адвокатов в судах не бывает. Выйти на воздух тоже нельзя – такая толпа окружает здание.

В середине дня – обеденный перерыв. Состав суда, прокурор и все руководство уехали обедать в какую-то «закрытую» столовую. Их отвезли туда на черных «Волгах» – машинах КГБ. (На этих же машинах их вечером развозили по домам.)

Мы, адвокаты, во время обеденного перерыва остаемся в суде. Нам идти некуда. Поблизости – ни кафе, ни ресторана.

После такого дня вернулась домой усталая и голодная. А дома – телефонные звонки. Сколько их было в тот первый вечер после суда, сосчитать невозможно. Друзья:

– Диночка! Я знаю, что ты очень устала, но хоть несколько слов – как там?

Знакомые:

– Дина Исааковна, простите, что отрываю вас, знаю, что очень устали. Но хоть несколько слов – как там?

И знакомые моих друзей, и друзья моих подзащитных – каждый с одним вопросом:

– Как там? Как прошел первый день суда?

А потом, уже ночью, когда все спят, я сижу на кухне, пью черный кофе, курю и, конечно, раскладываю пасьянс.

А перед глазами опять суд и лица свидетелей, и даже слышу их голоса. Как будто кто-то взялся специально для меня повторить эти больше всего бьющие по нервам кадры, перемешав их порядок, нарушив последовательность.

– Свидетель, сообщите суду ваше место работы и занимаемую должность.

– Вопрос снимаю. Свидетель, можете не отвечать.

Это судья Лубенцова снимает вопрос, которым судьи во всех процессах сами начинают допросы свидетелей, но который именно этому свидетелю не был задан.

И уже по следующему свидетелю:

– Сообщите суду место вашей работы и занимаемую должность.

– Вопрос снят. Можете не отвечать.

Так поочередно допрашиваем свидетелей Долгова и Иванова – «сотрудников» воинской части 1164.

– Свидетель Долгов, видели ли вы 25 августа на Красной площади своих знакомых или сослуживцев?

– Нет.

– Есть ли знакомые среди вызванных в суд свидетелей?

– Нет.

– Знаете ли вы Иванова?

– Нет.

– Знакомы ли вы с Веселовым, Богатыревым и Васильевым?

– Нет.

Он стоит перед судом, чуть повернув к нам голову. Он знает, что всем нам – судье, прокурору и адвокатам – ясно, что он лжет, но он нисколько не волнуется, не боится разоблачения. Когда Долгов произносит свое очередное «нет», он смотрит на нас и улыбается какой-то даже обезоруживающей своей наглостью улыбкой. Как бы говорит нам: «Не верите? Ну и не верьте. А все равно сделать вы ничего не можете». И молчит судья Лубенцова, и не говорит ему: «Что вы, свидетель! Как можно поверить, что вы не знакомы ни с одним из ваших сослуживцев, которые 25 августа в 12 часов вместе с вами были у Лобного места?»

И прокурор тоже молчит. И мы должны подавлять в себе буквально захлестывающее нас чувство ненависти и отвращения и к этой лжи, и к тем, кто ее защищает.

– Свидетель Иванов, вы знакомы со свидетелем Долговым?

– Конечно, мы ведь вместе с ним работаем.

– Свидетель Долгов тоже знает вас?

– Ну как же! Я знаю его, и он знает меня.

– Свидетель Васильев вам тоже знаком?

– Да.

– А свидетель Богатырев?

– Да, и его я знаю.

– Видели ли вы этих ваших знакомых 25 августа на Красной площади?

– Нет, никого не видел.

И опять у меня перед глазами лицо свидетеля Долгова и его улыбка, как будто он говорит нам: «Но вы ведь и без Иванова знали, что я вру. Но и он не говорит правды – ведь не сказал же он, что видел меня на площади. И не скажет. И другие не скажут. Так что волноваться нечего».

Лубенцова – судья, который прекрасно умеет вести перекрестный допрос. Она любит острые ситуации в судебном следствии, когда целой серией вопросов заставляет свидетеля отказаться от лжи и сказать правду. А здесь.

Спокойно слушает она эти взаимоисключающие друг друга ответы и не обращается к Долгову со своим обычным: «Как согласовать ваши показания с показаниями свидетеля Иванова?» Или: «Кто же из вас, свидетель, сказал суду правду? Кому из вас мы должны верить?»

Для адвокатов и подсудимых важно было доказать, что свидетели Долгов и Иванов лгут, хотя бы в этой части, чтобы подорвать доверие к остальным их показаниям. Важно было иметь право сказать суду, что это недобросовестные свидетели и на их

показаниях нельзя строить обвинение. Но та борьба, которую мы вели, имела и другие цели.

Чтобы понять их, нужно прежде всего ответить на вопросы: для чего защита стремилась доказать, что Долгов, Веселов, Иванов и другие являются сотрудниками КГБ или Министерства внутренних дел (милиции), и почему, вопреки закону, прокуратура и суд с невероятным рвением пытались это скрыть?

В советском суде тот факт, что свидетель является сотрудником КГБ или милиции, никак не обесценивает значимость его показаний. Приговоры по множеству уголовных дел основываются целиком или в основном на показаниях оперативных работников милиции и уголовного розыска.

Что мешало свидетелям просто сказать суду:

– Да, мы сотрудники КГБ. В нашу обязанность входило наблюдение за порядком на Красной площади. Мы считали, что сидячая демонстрация нарушает порядок, и задержали демонстрантов.

Или еще более правдиво:

– Мы провели задержание по прямому указанию руководивших нами сотрудников КГБ. И назвать их имена. Имена тех лиц, об установлении которых защита ходатайствовала еще при изучении дела, и вновь повторила это ходатайство в суде.

Но власти не хотели открыто признать, что считают мирную демонстрацию преступлением. Им выгодно было перенести ответственность за разгон демонстрации и избиение демонстрантов на простых советских граждан. Они ограждали себя от надоевших упреков Запада в том, что советское государство нарушает конституционные права своих граждан, и получали вместе с тем возможность использовать разгон демонстрации как наглядный пример «единодушного одобрения всем советским народом политики партии и правительства».

Власти требовали от суда осуждения демонстрантов. Но требовали сделать это таким образом, чтобы никто не вправе был сказать:

– Их осудили за демонстрацию.

Вся конструкция обвинения была подчинена этой задаче. Весь ход процесса преследовал эту цель. Противоречия в показаниях свидетелей Долгова и Иванова ослабляли эту конструкцию. Повторения подобного руководителя процесса допустить не могли. И выход из положения, вполне примитивный, но зато абсолютно радикальный, был найден незамедлительно.

По распорядку работы, который был принят судом, допрос остальных свидетелей – сотрудников воинской части – был назначен на 10 октября.

Весь этот день, допрашивая разных свидетелей, мы помнили, что впереди допрос Веселова, Васильева, Богатырева. Готовились к нему, обсуждали тактику постановки вопросов. И вот все свидетели уже допрошены, остались только эти трое.

Единым движением мы, адвокаты, перевернули страницы наших досье, чтобы иметь перед глазами протоколы допросов этих свидетелей на предварительном следствии. Но в тот же момент услышали спокойный голос Лубенцовой:

– Суд ставит стороны в известность: свидетели Веселов, Богатырев и Васильев неожиданно выехали из Москвы в служебную командировку. Суд ставит на обсуждение вопрос о возможности закончить дело в их отсутствие.

Ни один руководитель учреждения не вправе воспрепятствовать свидетелю явиться в суд. Никто не взял бы на себя ответственность отправить сразу трех свидетелей в командировку, не получив на это специального разрешения. Несомненно, что реализацию такого «выхода из положения» взяли на себя те работники КГБ, которые осуществляли оперативное руководство всем ходом нашего процесса. Но несомненно также и то, что решение это принималось согласованно с руководством суда. В противном случае Лубенцова поступила бы так, как этого требовал закон: она потребовала бы вызвать свидетелей из командировки, признала бы невозможным закончить рассмотрение дела в их отсутствие.

Все подсудимые, защита в полном составе настойчиво ходатайствовали, чтобы явка этих свидетелей была обеспечена. Если бы слушалось обычное дело, Лубенцова такое ходатайство, несомненно, удовлетворила бы. Ведь неполнота судебного следствия – основание для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. В деле о демонстрации Лубенцова этого не боялась. Она знала, что Верховный суд РСФСР все равно утвердит обвинительный приговор, и в ходатайстве нам отказала.

Так же просто и молниеносно решились и другие спорные вопросы, возникавшие в ходе судебного следствия.

Показания работника милиции Стребкова, который 25 августа нес службу на патрульной машине на Красной площади, неопровержимо доказывали, что демонстрация не создала препятствий нормальной работе транспорта.

Цитирую показания Стребкова в суде по официальному протоколу судебного заседания (листы дела 56–57):

25 августа нес патрульную службу на Красной площади на автомашине «Волга». В 12 часов получил распоряжение срочно подъехать к Лобному месту. В этот день был допуск граждан в мавзолей, и проезд через площадь обычных машин был полностью закрыт.

Правительственные машины могут следовать через Красную площадь, но это в другом месте. Задержанные граждане и толпа, собравшаяся вокруг них, стояли в стороне. Если машины шли из Кремля, проезд для них был свободным. Толпа им не мешала.

Значение показаний Стребкова для защиты не только в том, что они опровергали сам факт нарушения работы транспорта. Такие показания на предварительном следствии давали многие свидетели. Но все они – обычные граждане. Суду было просто отвергнуть их показания, сославшись на то, что внимание этих свидетелей было обращено на демонстрантов, а не на проезжавшие машины. Кроме того, рапорт сотрудника ОРУДа Куклина безусловно имел преимущество при оценке судом доказательств по этому вопросу. Но свидетель Стребков – не простой свидетель. Он специалист, знающий по роду своей работы правила движения транспорта на Красной площади. Наиболее ценным в его показаниях было утверждение экспертного характера: Нарушения работы транспорта не только не было, но и не могло быть.

Теперь нам надо было только ждать допроса Куклина, которого вызвали на следующий день – 10 октября, чтобы путем перекрестного допроса этих двух свидетелей (Куклина и Стребкова) полностью опровергнуть рапорт Куклина, то есть то единственное доказательство виновности подсудимых в нарушении работы транспорта, которое было в распоряжении суда.

Но ничего этого не произошло. Вновь «руководство» и суд нашли самый простой для них выход из этой опасной для обвинения ситуации.

Определением суда, несмотря на возражения подсудимых и защиты, Стребков был освобожден от дальнейшей явки в суд.

И вот на следующий день – 10 октября – допрашивается свидетель Куклин. Задают вопросы адвокаты и подсудимые (протокол судебного заседания, листы дела 72–74):

Вопрос: Когда вы написали и подали рапорт о событиях на Красной площади 25 августа?

Ответ: В тот же день 25 августа.

Вопрос: Уточните время его написания.

Ответ: Вечером, после того как сдал смену.

Вопрос: Чем объяснить, что рапорт датирован 3 сентября, а не 25 августа?

Ответ: Это второй рапорт.

Вопрос: Чем объяснить, что вы писали два рапорта об одних и тех же событиях?

Ответ: Первый рапорт был неполный.

Вопрос: Где находится ваш первый рапорт?

Ответ: Не знаю. Я его передавал своему начальству (начальнику четвертого отдела ОРУД). Потом мне сказали, что его передали следователю.

Вопрос: Вы писали второй рапорт по собственной инициативе или кто-нибудь предложил вам это сделать?

Ответ: Начальство мне сказал, что первый рапорт нужно дополнить.

Вопрос: Чем нужно было дополнить первый рапорт?

Ответ: Что главная помеха в нашем деле затор транспорта.

Вопрос: Когда вам было дано указание о необходимости дополнить рапорт?

Ответ: Я писал второй рапорт сразу после того, как мне начальник об этом сказал, значит, 3 сентября.

Далее в протоколе записано:

По ходатайству защиты суд удостоверяет, что допрос свидетеля Куклина на предварительном следствии (том 1, лист дела 69) датирован 27 сентября 1968 года.

Даже самый далекий от работы правосудия человек не может не понять, что показания Куклина в суде полностью дискредитировали содержащееся в его втором рапорте, дописанное им по указанию руководства утверждение: «Эта группа мешала движению транспорта».

В этих условиях для того, чтобы исключить всякие сомнения и возможность судебной ошибки, защите и объективному суду было необходимо ознакомиться с подлинным документом – с тем рапортом, который Куклин писал по собственной инициативе, по собственному разумению и в самый день события.

По советскому закону вся первичная документация, относящаяся к событию преступления, обязательно приобщается к делу. Это гарантирует суду и сторонам возможность самостоятельно анализировать содержание этих документов. В нашем деле таким первичным документом был рапорт инспектора ОРУД Куклина от 25 августа. Поэтому вся защита и все подсудимые заявили ходатайство об его истребовании. Такое ходатайство подлежало безусловному удовлетворению.

И вновь суд выносит определение:

...в ходатайстве об истребовании рапорта инспектора ОРУДа Куклина от 25 августа отказать, так как суд не видит в этом необходимости.

Последовательно и целеустремленно охранял суд все то, что подкрепляло обвинение. У адвокатов оставалась только одна возможность, один метод защиты – критика собранного следователем обвинительного материала.

Самое важное для меня, когда анализирую показания уже допрошенных свидетелей, – это «забыть». Забыть внешность свидетеля, интонацию, с которой он дает показания. Забыть все то, что создает эмоциональное воздействие свидетельских показаний, вызывает симпатию или антипатию, чтобы не позволить себе слишком поспешно принять на веру показания благожелательного свидетеля либо также поспешно отвергнуть, как не заслуживающие доверия, показания «недругов».

Так и в этот раз. Стоило мне заставить себя отрешиться от неприязни к свидетелям обвинения – Долгову, Иванову, Давидовичу и другим, забыть откровенно издевательский тон, которым Долгов отвечал на наши вопросы: «Нет, никого из знакомых на Красной площади не видел. С Ивановым незнаком. Веселова не знаю»; стоило забыть внешность Давидовича – его пересеченное шрамом лицо гангстера, – как я видела, что нет ничего страшного в тех показаниях, которые давали эти столпы обвинения.

Изобличающую, обвинительную силу их показаниям придавали не факты, а оценки. «Поведение этих лиц было безобразным», «Они вели себя провокационно», «Я, как и все граждане, был возмущен их наглым поведением». Но суд не вправе пользоваться оценкой события, которую дает свидетель. Обязанность суда – самостоятельно оценивать доказательства, то есть сообщенные свидетелем факты. И я должна, как потом обязан это сделать и суд, освободить показания свидетелей от всего второстепенного, оставляя в них только то, что прямо относится к ответу на вопросы: нарушили ли подсудимые общественный порядок, имело ли место нарушение нормальной работы транспорта.

Показания в суде свидетеля Долгова (лист дела 59 оборот – 60):

Увидел всю эту группу. Они держали в руках плакаты. Собралась толпа. Люди, окружавшие их, возмущались, выкрикивали в их адрес оскорбления. Когда их задерживали, сопротивления с их стороны не видел. К Лобному месту подошли машины, в которые посадили задержанных.

Показания свидетеля Иванова в суде (лист дела 62–62 оборот):

Увидел на Красной площади толпу. Подбежал к Лобному месту. Вокруг них собралась толпа человек 30. Народ возмущался. Я помог посадить Дремлюгу в машину. Он сопротивлялся, это выражалось в том, что не хотел идти, упирался.



Показания свидетеля Давидовича в суде (листы дела 64 оборот – 65):

Они сидели у Лобного места и держали лозунги провокационного характера. В течение двух-трех минут они громко обращались к собравшимся с речами митингового характера. Один из сидящих сказал, что ему стыдно за наше правительство. Я помог посадить одного из них в машину – он сопротивлялся.

А вот показания еще одного свидетеля обвинения, на объективность которого, несомненно, будет ссылаться прокурор: он не сотрудник воинской части 1164, не работник милиции; он просто один из толпы. Один из тех, кто действительно был возмущен демонстрацией.

Показания свидетеля Федосеева в суде (листы дела 65–66):

Они сидели у Лобного места с провокационными плакатами. Подошли машины, и их туда посадили. У одного из задержанных лицо было в крови (Файнберг). Когда его сажали в машину, он крикнул: «Долой правительство тиранов!» Кроме того, один сказал, что ему стыдно за наше правительство. Больше ничего я не слышал. На все возмущение толпы сидящие ничего не говорили.

Так записаны в официальном протоколе судебного заседания показания самых агрессивных свидетелей обвинения в наихудшем для подсудимых виде. В том виде, в каком будут лежать они перед составом суда в часы вынесения приговора.

Многое из того, что эти же свидетели отвечали на вопросы адвокатов, в протоколе не записано. Это тоже не случайность. Председательствующий не только следит за тем, как секретарь записывает показания, но и проверяет весь протокол, указывает, что нужно добавить, что, наоборот, убрать. Иногда по указанию судьи секретарь переписывает целые страницы протокола, иногда вставляет в него или вычеркивает целые фразы.

Так из протокола судебного заседания по делу о демонстрации на Красной площади были выброшены все упоминания о работниках КГБ, которые принимали участие в задержании демонстрантов.

Я, как и все адвокаты, веду во время судебного заседания свой, неофициальный, протокол, в который записываю самое важное из показаний свидетелей. В моем протоколе записано:

Свидетель Стребков: В отделении милиции, куда я доставил гражданина Бабицкого, я видел гражданина, который принес плакат «Руки прочь от Чехословакии». Он оказался сотрудником КГБ. Так он сам отрекомендовался. Этого гражданина я видел 25 августа на Красной площади.

Свидетель Давидович: В задержании участвовали работники оперативной группы (КГБ). Все они были в штатском. Один из них предъявил свое удостоверение.

В официальном протоколе эти показания записаны не были. Но не только это. Официальный протокол по нашему делу искажал показания свидетелей.

Там, где свидетель уверенно говорил, что машины через Красную площадь не проходили, в протоколе записывалось:

Я не видел, чтобы машины проходили, но было много народа, и я мог не заметить.

Или:

Я не слышал, говорили ли они что-нибудь, но было шумно, и я мог не услышать.

Это вместо:

Подсудимые ничего не говорили.

Записи в протоколе, сделанные по этому методу, обесценили такие важные для защиты доказательства, как показания свидетеля Ястребовой и Лемана. Но, несмотря на это, отбрасывая в сторону все, что говорилось в суде в пользу подсудимых, я с убежденностью пришла к выводу: показания всех свидетелей обвинения даже в том виде, как они записаны в официальном протоколе, не изобличали подсудимых в совершении уголовного преступления.

Описанный мною метод подготовки к защите – метод «отстранения», «взгляда со стороны», – наверное, совсем не оригинален. Я таким методом пользовалась всегда, но это не научило меня быть равнодушной в суде. В каждом новом процессе я вновь с симпатией и доверием выслушивала благоприятные для моих подзащитных показания, вновь внутренне негодовала, слушая показания свидетелей обвинения, чтобы потом усилием воли на какое-то время забыть, кто «враг», а кто «друг», и выуживать из их показаний по крупицам факты, факты и только факты.

Этот нелегкий для меня процесс разделения того, что воспринимается слитно, как нечто целое, дает очень недолговечный результат. И эмоциональное восприятие возвращается вновь и так и оседает в памяти на годы, а многое даже навсегда. Я не верю, что наступит время, когда забуду и то, что говорила тогда на нашем процессе Татьяна Великанова, и то, как звучал ее голос:

Они не реагировали даже на то, что их били. Сидели не поднимая головы. Не сопротивлялись, когда их били ногами. Как будто это не их, как будто они на другом свете.

Помню, как я опустила голову, чтобы никто не заметил моего волнения, когда слушала ее рассказ – рассказ женщины, на глазах которой избивают мужа и которая сумела себя

сдержать и не вмешаться, не защитить. Ведь она обязана была выполнить взятую на себя роль свидетеля-очевидца, чтобы потом в суде, неизбежность которого она понимала, иметь возможность рассказать правду о демонстрации.

Помню и то, как постепенно затихал враждебный гул «публики», и наступила тишина, в которую падали полные достоинства слова, сказанные в ответ на вопрос прокурора:

Я не считала себя вправе его отговаривать. Он поступил так, как требовали его совесть и его убеждения (лист дела 79).

Эффект, произведенный ответом Татьяны, был для прокурора настолько неожиданным и непонятным, что он растерялся и замолчал. Только после того, как все адвокаты закончили допрашивать этого свидетеля, прокурор попросил у суда разрешения продолжить ее допрос.

Даже сейчас, когда заканчиваю воспоминания об этом необычном деле, мне почти нечего сказать моему читателю о прокуроре. Разве что он обладал резким неприятным голосом и странной фамилией Дрель. Когда, уже после вынесения приговора, мои товарищи по консультации просили меня рассказать о судебном процессе, рассказывала о подсудимых, о суде, об адвокатах, но никогда о прокуроре.

В ходе судебного разбирательства он не задал ни одного нового существенного вопроса, ограничиваясь повторением тех, которые раньше до него задавал следователь. Его обвинительная речь.

Но раньше нужно рассказать о том, в каких условиях начались судебные прения.

10 октября, в конце обеденного перерыва, когда публику еще не пустили в здание, я стояла одна в пустом коридоре. В это время из канцелярии вышел председатель Московского городского суда Николай Осетров и направился в совещательную комнату. Увидев меня, он остановился в нерешительности, а потом подошел.

– Хорошо, что судебное заседание еще не началось, – сказал мне Осетров. – Я хочу предупредить вас и прошу передать остальным адвокатам, что принято решение заслушать речь прокурора и речи адвокатов сегодня.

И, как бы предвидя мои возражения, добавил:

– Перенести прения сторон на завтра мы не можем.

– Еще не закончено судебное следствие, еще не допрошен ряд свидетелей, после которых у защиты возникнут дополнительные ходатайства. Кроме того, нам всем требуется время для подготовки к речам.

– Судебное следствие будет закончено сегодня. Суд объявит небольшой перерыв и даст вам разумную возможность подготовиться к речи. Я думаю, одного часа адвокатам

будет вполне достаточно. Не возражайте, товарищ адвокат, – добавил Осетров, видя, что я собираюсь спорить с ним.

А потом, уже не смущаясь тем, что при мне идет в совещательную комнату, Осетров направился передавать судье это новое распоряжение о порядке слушания дела.

Следующим человеком, который сообщил мне эту новость, был председатель президиума Московской коллегии адвокатов Константин Александрович Апраксин. Он вышел из канцелярии почти сразу после того, как Осетров зашел в кабинет к Лубенцовой, и потому не знал, что сообщаемая им «новость» уже не является для меня новостью.

А я слушала его рассказ и думала: «Неужто оба они не понимают, что это непристойно? Неужто привычка к вмешательству партийной власти в дела правосудия так велика, что они даже не пытаются скрыть, что там, «наверху», решают все вопросы, которые должен и вправе решать только суд?..»

От Апраксина я узнала, что речи адвокатов будут стенографироваться.

– Будьте осторожны, – сказал мне Константин Александрович, – обдумывайте каждое слово, каждую формулировку. На вас лежит ответственность перед всей коллегией.

А когда обдумывать? Ни я, ни мои коллеги, которым тут же я передала весь разговор, не сомневались, что решение это было неожиданным не только для нас, но и для Лубенцовой, Осетрова и Апраксина. Апраксин этого не скрывал. Когда я упрекнула его, что не предупредил нас заранее, он откровенно сказал, что сам об этом узнал недавно и что возражать бессмысленно.

После этого разговора суд быстро отказал нам во всех ходатайствах, и судебное следствие объявили законченным.

Через два часа судебное заседание возобновилось. Прения сторон откроются речью прокурора. А пока мы, адвокаты, расселись по разным углам зала. Кто сидит за столом и пишет, кто примостился в углу на скамейке, разложив на подоконнике свое досье. Я просто хожу по коридору вперед и назад и опять вперед и назад. В общем-то защитительные речи, их основной стержень, у всех нас готовы давно. Да и накануне каждый из нас дома, как я – за кухонным столом, или лежа без сна в постели, вновь проверял свою аргументацию и обдумывал основные формулировки, чтобы во время речи не «понесло», чтобы суметь удержать себя в рамках допустимого, дозволенного политической цензурой.

Государственному обвинителю, поддерживающему обвинение в таком деле, как наше, было предельно просто произнести демагогическую пропагандистскую речь. Но дать

правовой анализ, не отказываясь при этом от обвинения, была задача не просто трудная, но, на мой взгляд, невыполнимая. Наш прокурор перед собой этой задачи не ставил.

Обвиняя подсудимых именем государства в нарушении общественного порядка и клевете, прокурор говорил о «подрывной деятельности международного империализма, и в первую очередь о США». О том, что «...международный империализм развернул кампанию антисоветской пропаганды по поводу оказания Советским Союзом братской помощи Чехословакии», что «буржуазная пропаганда распространяет клевету против Советского Союза».

Значительная часть речи прокурора была посвящена тому, что Советская армия в годы Отечественной войны освободила Чехословакию от фашистских захватчиков и что плакаты «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» или «За вашу и нашу свободу» – это надругательство над памятью погибших в тех боях советских воинов. Наш прокурор настолько увлекся политической частью своей речи, что не заметил, как в тех действиях, которые следствие рассматривало как клеветнические и квалифицировало по статье 190-1 Уголовного кодекса, он усмотрел нарушение общественного порядка (статья 190-3 Уголовного кодекса), и, наоборот, ту часть обвинения, которую следствие признавало «действиями, нарушающими общественный порядок», прокурор просил признать клеветой и квалифицировать по статье 190-1.

Свою обязанность доказать обвинение прокурор реализовал в двух фразах:

Нет надобности доказывать, что эти плакаты носили явно клеветнический характер.

И:

Наша печать разъяснила всем гражданам прогрессивный характер действий советского правительства, и не понимать это невозможно.

Прокурор решительно возражал против термина «демонстрация» применительно к нашему делу. Он признал, что конституция гарантирует советским гражданам право на свободу демонстраций, но утверждал (и в этом он абсолютно прав), что партия и правительство признают демонстрацией только то, что организовано или санкционировано властью.

Весь этот набор демагогических фраз и политических лозунгов вполне привычен на митинге. В суде от прокурора, даже по политическим делам, ждут большего. Лубенцова была явно разочарована. С нескрываемой иронией слушала она «правовую» часть речи прокурора и, наверное, досадовала на то, что ей придется заново в приговоре решать вопросы квалификации, так безбожно перепутанные обвинителем.

Но вот наступают минуты, когда прокурор обращается к суду с предложением о наказании.

Все замерли, понимая, что именно сейчас решается судьба подсудимых, что в этом случае устами прокурора Дреля будет говорить государство, послушным рупором которого он является.

Уже перечислены все «нравственные пороки» подсудимых, которым советская власть дала «все» и которые вместо того, чтобы доверять советским газетам и советскому радио, «черпали порочную информацию из мутных зарубежных источников»; и дальше:

Учитывая, что Литвинов, Бабицкий и Богораз раньше к уголовной ответственности не привлекались. при избрании меры наказания прошу применить статью 43 Уголовного кодекса РСФСР...

Чуть повернув голову, я вижу широко раскрытые удивленные глаза Ларисы, слышу чей-то глубокий вздох в зале.

Мы тоже растерянно смотрим друг на друга, когда в какие-то доли секунды каждый думает: «Что это значит? Почему статья 43 Уголовного кодекса, которая дает суду право избрать наказание ниже, чем то, которое предусмотрено в статье? Какое наказание может быть ниже, чем минимальная санкция статьи 190 – штраф до 100 рублей?..»

Но уже слышим:

Литвинову Павлу Михайловичу – 5 лет, Богораз Ларисе Иосифовне – 4 года, Бабицкому Константину Иосифовичу – 3 года.

Дремлюге Владимиру Александровичу и Делонэ Вадиму Николаевичу, с учетом прежней судимости, по 3 года лишения свободы каждому.

У меня уже нет времени осознать это невероятное, ранее неизвестное советскому правосудию предложение, когда просьба о смягчении наказания сочетается с увеличением максимального срока, предусмотренного этой же статьей. Но даже в эти мгновения, когда слышу голос Лубенцовой:

– Слово для защиты подсудимого Литвинова предоставляется адвокату Каминской, – и пока я встаю и медленно отодвигаю подготовленные и никогда не нужные мне во время произнесения речи тезисы, не перестаю думать: «...Для Ларисы, Павла и Кости ссылка – это почти счастье...»

Перечитывая сейчас стенограммы защитительных речей, я еще раз убеждаюсь, что пересказать судебную речь невозможно. А жаль! Это были действительно хорошие

судебные речи. Мои товарищи по защите нашли убедительные аргументы, опровергающие обвинение, и я думаю, что вправе сказать, что общими усилиями всей защиты была доказана правовая несостоятельность обвинения по этому делу.

Мне кажется, что в нашем процессе адвокатов, как и подсудимых, объединяло прекрасное чувство солидарности, готовности помочь друг другу и безусловное уважение к мотивам, которыми руководствовались наши подзащитные. Объединяло нас чувство ответственности, чувство профессионального долга, которое я, вслед за Константином Бабицким, не побоюсь назвать высоким.

Мне понравились речи всех моих коллег. И речь Софьи Васильевны Каллистратовой, и речи сравнительно молодых адвокатов Юрия Поздеева и Николая Монахова. Впрочем, речи Софьи Васильевны нравились мне всегда. Особенно ценила я безупречную «мужскую» логику ее аргументации и сдержанную страстность в манере изложения. Я любила ее хриплый «прокуренный» голос, так богатый оттенками.

В каждом, даже самом безнадежном деле она умела найти свое оригинальное и убедительное решение. Недаром про нее говорили: «Каллистратова – адвокат Божьей милостью».

Мне очень понравилась речь молодого, впервые выступавшего в таком ответственном деле адвоката Николая Монахова. Они удивительно подходили друг другу – адвокат Монахов и его подзащитный Владимир Дремлюга. И общая какая-то бесшабашность характера, и жизнелюбие, и манера шутить.

О своей речи рассказывать труднее всего. Хвалить себя – непристойно, ругать – неприятно. Наверное, в ней были и достоинства и недостатки. Значительная часть моей речи была посвящена правовому анализу обвинения. Я говорила первой, и уже это одно обязывало меня сделать это от имени всей защиты. Когда-то я этой – чисто правовой – частью, этой новой аргументацией даже немного гордилась. Сейчас это ушло в воспоминания.

Самым трудным для меня тогда, во время произнесения речи, было-удержаться. В этом деле, как ни в одном другом, я полностью разделяла взгляды подсудимых; так же, как они, считала вторжение в Чехословакию агрессией, оккупацией.

Когда я узнала о вторжении советских войск в Чехословакию, у меня тоже было чувство, что нельзя не крикнуть, не сказать: «Это позор!» Они сумели это сделать, я – нет. Выступая в суде по этому делу, произнося защитительную речь, я испытывала почти непреодолимую (но все же преодолимую) потребность как-то выразить и свое отношение. Эту потребность, вернее, силу ее воздействия на меня я не осознавала

раньше. Готовясь к речи, я полностью исключала для себя возможность в любой, даже самой скрытой, самой замаскированной форме позволить себе ее проявить.

В своей речи я ответила прокурору так (цитирую по стенограмме):

Я полностью присоединяюсь к той части речи прокурора, в которой он говорил о великой заслуге советского народа и Советской армии. Тогда, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг «За вашу и нашу свободу». Я лично считаю, что лозунг «За вашу и нашу свободу» никогда, ни при каких обстоятельствах не может считаться клеветническим. Я всегда говорю «За вашу и за нашу свободу» потому, что считаю самым большим счастьем для человека – счастье жить в свободном государстве.

Я решила процитировать этот небольшой кусок моей речи, хотя понимаю, что он не может быть воспринят читателем так, как воспринимался моими слушателями.

То, что я недоговаривала словами, звучало в долгой паузе, которая оборвала фразу: «Тогда, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг «За вашу и нашу свободу...», в паузе, неожиданной для меня самой. Я даже сейчас помню, как вдруг оборвался голос, такое внутреннее напряжение испытывала я в эти минуты.

Наверное, в этом секрет эмоционального воздействия, когда недоговоренное, несказанное стало понятно моим слушателям. А то, что это было именно так, – я знаю. Об этом мне сказали тогда мои товарищи по защите, говорили и подсудимые. Сказал мне об этом и представитель «публики».

Закончились речи защиты. Объявлен перерыв до утра.

Я стояла, облокотившись на барьер, отделяющий подсудимых от зала, и смотрела на выходящих. Этого человека я заметила еще издали. Он глядел на меня с такой ненавистью, которая была, наверное, не менее непреодолимой, чем чувства, только что испытанные мною. А потом, поравнявшись со мной, он остановился и отчетливо произнес:

– У, ты... падло.

Я помню крик Ларисы:

– Как вы смеете! Как вы можете так оскорблять адвоката!

Кто-то из подсудимых звал начальника конвоя, чтобы задержать этого человека. Кто-то требовал немедленно составить акт. Я же не испытывала ни огорчения, ни обиды. Было даже чувство удовлетворения, мне было ясно, что он меня понял.



Но были и другие. В этот же вечер или, вернее, почти ночью – судебное заседание закончилось в 11 часов вечера – ко мне подошли два человека. Это были корреспонденты московских газет, специально командированные на этот процесс. Они назвали мне свои имена – я помню их и сейчас, как дословно запомнила и то, что они тогда мне сказали, настолько странно это было слышать от советских журналистов:

– Это не первый политический процесс, на котором мы присутствуем. Были мы и на всех политических делах с вашим участием. Вы, наверное, осуждаете нас за то, как мы писали о тех делах. Вот поэтому нам и захотелось сказать, что об этом деле мы писать не будем. Статей за нашими подписями в газетах вы не увидите. Мы понимаем, какие это люди.

Через много лет, когда мы с мужем покидали Советский Союз, один из этих журналистов неожиданно напомнил о себе. Случилось так, что во время тяжелой болезни сердца он оказался в одной больничной палате с адвокатом, хорошо знавшим меня. Так ему стало известно, что я уже отчислена из адвокатуры и собираюсь уехать из страны.

Вернувшись из больницы, мой коллега сразу позвонил мне:

– Он так настойчиво просил передать тебе слова признательности и уважения, что я делаю это в первый же день после возвращения домой.

Третий день процесса – последние слова подсудимых, и суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

В зале судебного заседания остаются только подсудимые, конвой и мы – адвокаты. Теперь конвой относится к нам значительно либеральнее, чем в первые дни процесса, и мы получаем возможность почти беспрепятственно разговаривать с нашими подзащитными. Это уже не профессиональный разговор – все профессиональные темы на сегодня позади. Они вернутся потом, когда наступит время кассации. Но это еще будет.

А 11 октября мы сгрудились около деревянного барьера и смеемся вместе с ними, ставшими за эти три дня для нас такими близкими и нужными людьми. И я уже нежно улыбаюсь не только Ларисе и Павлу, но и Косте Бабицкому, которого до начала этого процесса никогда не видела и с которым продолжить наше знакомство мне так и не довелось. Почему-то особенно запомнилось, как мы оживленно обсуждали какой-то особый, мне неизвестный сорт пирожных и как Вадим Делонэ настойчиво советовал обязательно и, главное, незамедлительно их попробовать.

Но помню и то, как, не обращая внимания на ленивые замечания конвоя: «Товарищ адвокат, не разговаривайте с ним – это не ваш подзащитный», я говорила Вадиму, что он молодец и как замечательно он сказал свое «последнее слово». И даже каким особенно красивым, даже сияюще красивым было его лицо, когда он произносил:

– Я понимаю, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы.

Последние слова всех подсудимых были прекрасны. В них больше, чем в цитированных мною раньше показаниях, отражалась индивидуальность каждого из них. Но ни тогда, ни сейчас я не знаю, кому отдать преимущество; не могу решить, кто из них сказал лучше, достойнее. Наверное, каждый слушатель мог выбрать из этих «последних слов» то, которое больше соответствовало его собственным взглядам, характеру и мировоззрению.

Для меня особенно близким были обращенные к суду слова Бабицкого:

– Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую – оправдательный. Какие нравы хотите воспитать вы: уважение и терпимость к другим взглядам или же ненависть и стремление подавить и унижить всякого человека, который мыслит иначе?

Во время этого же перерыва между мной и председателем президиума Коллегии адвокатов произошел разговор, который может служить забавной иллюстрацией того, какие неожиданные вопросы приходилось решать нашему «штабу».

Случилось так, что, когда Апраксин вошел в зал судебного заседания, кроме меня, никого из адвокатов там не было. Он отозвал меня в сторону и тихо, так, чтобы подсудимым не было слышно, сказал:

– Обошлось благополучно. Речами вашими там (и он поднял палец вверх) не очень довольны, но неприятностей не будет. Так что считайте, что пронесло.

(Кстати, не свидетельствует ли такая молниеносная реакция «верхов» на наши речи, что они не только стенографировались, но и транслировались прямо в здание ЦК КПСС через замаскированные микрофоны?..)

А потом, уже более громким голосом, Апраксин продолжал:

– Не уходите сразу после того, как объявят приговор. Вас всех развезут по домам на машинах – мы ведь понимаем, как вы устали.

– Почему именно сегодня, а не вчера, когда закончили работу ночью? – спросила я. – И на каких это машинах нас собираются вывозить?

– Машины для каждого из вас уже обеспечены, так что даже ждать не придется.

Но мною решение уже было принято.

– Я на их машине не поеду. – И в ответ на удивление Апраксина добавила: – Мы – защитники, мы от них отдельно, и выезжать нам отсюда на машинах КГБ было бы просто непристойно.

Мои товарищи, которые к этому моменту вернулись в зал и узнали о сделанном предложении, тоже отказались воспользоваться этой «любезностью» КГБ.

Не прошло и нескольких минут, как Апраксин вернулся.

– Пожалуй, вы правы, – сказал он. – Может быть, действительно не стоит вам ехать на этих машинах. Но в здании суда вы задержитесь обязательно. – И опять тихо: – Выходите из суда поодиночке и через задний ход, так, чтобы иностранные корреспонденты вас не увидели. И никаких интервью, помните – никаких интервью.

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... 11 октября 1968 года.

Как нелепо, что эти слова звучат для меня торжественно! Как нелепо, что я чего-то жду от этого суда, который ничего не решал и решать не мог! Но я волнуюсь и жду, как ждут и волнуются мои товарищи, чтобы через несколько минут пережить всю полноту горечи разочарования. Так, как будто и вправду был суд, как будто могли на что-то надеяться.

Уже слышу: Литвинов – 5 лет ссылки, Богораз – 4, Бабицкий – 3. Дремлюге и Делонэ – лишение свободы. Все, как было известно заранее.

Приговор, вынесенный Лубенцовой, отвечал полностью тем требованиям, которые партийные органы ставили перед судом. Слово «демонстрация» ни разу в нем не упоминалось. Все то, что свидетельствовало в пользу подсудимых, все доводы защиты безмотивно были отброшены судом. И хотя Лубенцова употребила все свое умение, чтобы устранить путаницу в юридической квалификации, которая была в обвинительном заключении и особенно в речи прокурора, приговор от этого не стал ни более убедительным, ни более обоснованным, чем первоначальные формулировки обвинения.

В этом неудавшемся стремлении придать приговору хотя бы внешнюю правовую пристойность просто сказался свойственный Лубенцовой профессионализм, как сказался он и в ее отношении к нам, адвокатам, к той линии защиты, которую мы проводили в процессе.

В силу своего «социалистического правосознания» она считала инакомыслие преступлением, но понимала, что защитник должен защищать, и потому смотрела на нашу работу как на закономерное выполнение профессионального долга. В ее отношении к адвокатам не было ни раздражения, ни враждебности. Более того, уже после вынесения приговора она пригласила адвокатов в совещательную комнату специально, чтобы поблагодарить нас «за квалифицированное участие в этом трудном деле».

И вот мы выходим через главный вход в переулок, и нас окружают те самые люди, которые все три дня стояли с утра до вечера на улице, так и не получив разрешения даже войти в здание суда. И иностранные корреспонденты, которые тоже эти три дня стояли на улице и тоже не получили разрешения войти в суд.

Нам преподносят большие букеты цветов, и кто-то торопливо извиняется, что они не такие большие и не такие прекрасные, и объясняет, что какие-то – гораздо лучшие – букеты у них украли.

Пожалуй, только мой первый политический процесс, когда я защищала Владимира Буковского, не сопровождался большим скоплением народа вокруг здания суда.

Но уже начиная со второго дела – с дела Галанскова и Гинзбурга приходиться к зданию суда стало традицией не только для друзей и близких знакомых подсудимых, но и для очень широкого круга сочувствующих. Цветы, которые приносили адвокатам, тоже стали традиционным знаком признательности. Но такого количества людей, которые пришли, чтобы стоять около здания в дни процесса над демонстрантами на Красной площади, я не видела ни до того, ни после.

О том, что происходило там на улице в часы, когда шла работа суда, я узнала потом из рассказов многих очевидцев. Помимо работников КГБ в штатском и разного рода оперативных работников, многих из которых уже знали в лицо, в этот раз было много рабочих с какого-то из ближайших заводов. Им отводилась роль «возмущенного народа». И для того, чтобы они с этой ролью могли справиться возможно успешнее, к их услугам были и бесплатное угощение, и бесплатная водка. Закуска и выпивка для них были приготовлены на специально для этого расставленных столах в соседнем дворе.

Цветы, которые на собранные деньги купили для адвокатов, украли тоже представители этого «народа». Они не остановились даже перед тем, чтобы на глазах у милиционеров взломать дверцы легковой автомашины, в которой эти цветы хранились в ожидании нашего появления. Как-то особенно четко осталось в памяти описание

сцены, когда с ожесточенным удовлетворением они топтали ногами эти выброшенные на асфальт цветы, чтобы ни одного живого цветка не осталось.

Полученные нами цветы были куплены в последний момент на вторично собранные деньги. С этими букетами нас сфотографировали те самые иностранные корреспонденты, от встречи с которыми нас предостерегало руководство.

Позже, через несколько дней, Апраксин специально вызывал меня для того, чтобы выразить недовольство:

– Я же просил вас, чтобы не выходили через главный вход. Вы обязаны были посчитаться с этой просьбой. А теперь в буржуазных газетах появятся ваши фотографии с цветами, и опять будут неприятности.

– А ты считаешь, что было бы более прилично, если бы появилась фотография убегающих адвокатов? – спросила я. – Меня такой снимок со спины не устраивает.

Быстро прошло время до того дня, когда Верховный суд утвердил приговор, до дня последнего свидания в Лефортовской тюрьме.

А потом начались письма из далеких Усуглей, где жил в ссылке Павел; и из далекой Чуны, где жила Лариса. И та связь, которая возникла между нами, верно, уже не может оборваться.

Тех, кто тогда, 25 августа 1968 года, вышел на Красную площадь, судьба разбросала по всему свету. Совсем молодым умер в Париже Вадим Делонэ. Наталья Горбаневская живет во Франции, Виктор Файнберг – в Англии, Павел Литвинов и Владимир Дремлюга – в Америке. Лариса Богораз и Константин Бабицкий остались в Советском Союзе.

Встречая их потом, уже после ссылки и возвращения из лагеря, кого в Москве, кого в Париже, а кого в Нью-Йорке, я вновь думаю о том, какие они разные люди, как по-разному подходят ко многим явлениям в жизни. И вновь одни из них становятся мне ближе и дороже, другие – отдаляются. Мы можем о многом спорить и во многом не соглашаться, но даже в самые грустные минуты серьезных разногласий я говорю себе: «Помни, это тот человек, который вышел на площадь...»

Мое уважение к их подвигу не уменьшилось с годами и не стерлось в памяти.